

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

В ТАКЕ ДНИ

СТИХИ
1910-1920

ПОСМАТРИТЕ НА СЕБЕ В ЗЕРКАЛО
1920 г.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВЪ
ЗЕРКАЛО ТЕНЕЙ



СТИХИ 1909-1919 г.



ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"

ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДСТВО

Валерий Яковлевич Брюсов

Неизданная проза

Раздел «Неопубликованные и незавершенные повести и рассказы» из 85-го тома серии «Литературное наследство: «Валерий Брюсов» (Изд. Наука, 1976).

<https://traumlibrary.ru>

Валерий Яковлевич Брюсов
Неизданная проза

Неопубликованные и незавершенные повести и рассказы

Предисловие

П*редисловие и публикация Вл. Б. Муравьева*

Художественная проза Брюсова – наименее известная и наименее исследованная часть его творческого наследия. Отмеченные И. С. Поступальским в 1934 г.[1] пренебрежение критики и литературоведения к ней, недооценка ее значения для понимания творчества писателя в целом остаются фактом и в настоящее время. Статьи А. И. Белепкого, З. И. Ясинской, А. В. Лаврова и С. С. Гречишкина о романе «Огненный ангел» общего положения не изменили, так как они ограничиваются изучением отдельно взятого произведения вне связи с остальной прозой Брюсова. В общих же работах о Брюсове его прозе обычно уделяется несколько поверхностных строк. Она определяется расплывчатым термином

«символистская проза», а как почти единственное ее достоинство отмечается ее «поэтичность».

Но, вопреки установившемуся мнению, в творческой жизни Брюсова проза занимала место, пожалуй, не меньшее, чем поэзия. Сошлемся на свидетельство И. М. Брюсовой: «Мы хорошо знаем Брюсова-поэта, критика, переводчика, но, в сущности, гораздо меньше знаем Брюсова-беллетриста. А между тем, Брюсовым-беллетристом написан ряд появившихся в печати повестей: „Огненный ангел“, „Алтарь победы“, „Обручение Даши“, сборники рассказов – „Земная ось“, „Ночи и дни“ и много других прозаических произведений, не собранных в отдельные сборники, а оставшихся в альманахах, журналах и газетах. Брюсов, тайно увлекаясь своими художественными прозаическими работами, не уставал переделывать и отшлифовывать каждый свой рассказ или повесть по многу раз, он вкладывал в обработку их гораздо больше сил и энергии, чем можно было предполагать. Он сам признавался, что „поэзия“ была ему более подвластна, чем „проза“. Это, одна-

ко, не мешало ему упорно, преодолевая все трудности, затевать все новые и новые работы в этой области. И он даже, по свойственной ему привычке, несмотря на то что время приходилось уделять на обработку прозы лишь урывками, успевал работать одновременно над несколькими вещами, подготавливая себе материалы, в ожидании более благоприятного часа, чтобы приняться за любимый труд, за окончательную отделку, за подготовку к печати своей прозы»[2].

Задача будущего – уяснить в полной мере значение работы Брюсова в области художественной прозы для его собственного творческого пути, определить направление его художественных исканий, выявить его достижения. Все это станет возможным лишь при условии включения в сферу исследования не только всех изданных произведений, но и всех оставшихся в архиве материалов, относящихся к работе Брюсова-прозаика.

Именно эта неопубликованная часть творческого наследия писателя обещает много интересного. «Не имея времени (а может быть, и мужества) работать над рукописями, которые

пока нет надежды напечатать, – писал Брюсов в 1916 г., – я принужден свои самые любимые замыслы оставлять в набросках, в планах или прятать написанное к себе в стол»[3].

Безусловно, в числе оставшихся в архиве и незаконченных произведений имеются и явно неудавшиеся и оставленные Брюсовым сознательно (об этом говорят авторские надписи на некоторых рукописях: «плохо», «неудачно»), но все же значительная их часть относится к разряду «любимых замыслов», к которым Брюсов возвращался неоднократно, завершению и публикации которых препятствовали не внутренние, а внешние причины.

Неопубликованными и незавершенными остались около ста произведений Брюсова-прозаика. Среди них есть совершенно законченные, подготовленные к печати работы; законченные в основном, но недоработанные; начатые (часто в нескольких вариантах), но незаконченные; есть отдельные краткие наброски. Степень законченности того или иного произведения важна для читателя, но в истории внутреннего развития Брюсова

неизданное, незавершенное произведение имело такое же значение, как и «дошедшие до слова и до света». Напомню слова самого Брюсова из статьи «Неоконченное повести из русской жизни», в которых он, комментируя Пушкина, невольно опирается и на собственный творческий опыт: «Не считая „Арапа Петра Великого“ и „Египетских ночей“, двух замыслов, принявших более или менее отчетливые очертания, мы знаем еще об одиннадцати повестях Пушкина, оставшихся, так сказать, в зародыше <...> Нет сомнения, что каждое из этих неосуществленных созданий Пушкина было кем столь же любовно лелеяно, как и его другие, более счастливые замыслы. На основании сохранившихся „программ“ и „планов“ поэм и повестей Пушкина мы знаем, как подробно и основательно обдумывал он все свои произведения, прежде чем приступал к их словесной обработке. Мы вправе заключить по аналогии, что и те повести, от которых дошли до нас лишь отрывочные страницы и разрозненные главы, самому Пушкину представлялись хотя бы и „сквозь магический кристалл“, но во вполне закон-

ченных формах. Там, где мы порою затрудняемся уловить даже основную идею рассказа, для Пушкина был целый мир, полный разнообразных событий и населенный толпою людей, которым лишь та или другая случайность не дала воплотиться в художественных образах»[4].

К некоторым замыслам Брюсов возвращался неоднократно, об этом содержится достаточно сведений в печати и в материалах архива. Видимо, именно эти разрабатываемые и варьируемые в течение многих лет темы мы можем, пользуясь определением самого Брюсова, назвать «самыми любимыми», и, конечно, они наиболее интересны для исследователя.

2 января 1893 г. Брюсов набросал в дневнике «программу этого года». Поставив себе задачу выступить «на литературном поприще», он писал: «Между прочим сделаю пробу. Пошлю переводы из Верлена в „Новости иностранной литературы“, „Тени“ – в „Артист“, и „Николая“ – в „Ребус“»[5]. Эта запись позволяет точно определить круг произведений, которыми Брюсов считал возможным дебюти-

ровать в печати. Наряду со стихами здесь назван рассказ «Николай»[6]. В 1893 г. Брюсову напечататься не удалось; впоследствии он включал в сборники и собрание сочинений стихи 1892–1893 гг.; ранние прозаические произведения остались неопубликованными, но в планах и занятиях Брюсова тех лет художественная проза занимала существенное место[7].

Брюсов стремился беллетризировать даже гимназические сочинения. Так, с явным стремлением ввести элементы художественности написано сочинение 1892 г. «„Эдип-царь“». Разбор сообразно с поэтикой Аристотеля»[8]. Вместо школьного анализа «образов» по плану-шаблону, Брюсов описывает представление трагедии Софокла в древних Афинах и по ходу действия трагедии дает ей толкование. Правда, в этом сочинении беллетризованы только вступительная и заключительная части, в которых содержится описание театра и зрителей, средняя же часть почти лишена беллетризации.

Зато сочинение на тему «Гораций» (январь 1893 г.) уже совершенно откровенно облечено

в беллетристическую форму. «...дана была тема „Гораций“, – вспоминает Брюсов. – Я написал рассказ из римской жизни времен Августа – „У Мецената“. Поливанов написал мне по сочинению: „Подобные сочинения должны быть приватными занятиями, которым нельзя не сочувствовать, но нужно упражняться и в сочинениях школьных, которые имеют свои требования, для вас очень и очень небесполезные“, – но в журнале поставил пятерку»[9].

Для Брюсова рассказ, представленный гимназическому преподавателю вместо обычного школьного сочинения, был своеобразной попыткой заявить себя литератором. Характерно содержание рассказа: спор между поэтами старшего поколения и молодым Овидием. Собственно не Гораций, а Овидий – главный герой рассказа, и в доводах и утверждениях Овидия совершенно определенно слышен голос молодого Брюсова, уже начинающего осознавать себя вождем новой литературной школы (известная запись о себе как о вожде нового направления будет сделана в дневнике через месяц, 4 марта).

Этим ранним опытом художественной прозы Брюсова и открывается настоящая публикация. Печатаемые далее незавершенные произведения Брюсова-прозаика можно сгруппировать по трем основным тематическим разделам: изображение современной русской действительности, историческое прошлое и область фантастики.

К первой группе принадлежит рассказ «Голубочки – это непорочность» (1898), представляющий собой художественно преображенные воспоминания Брюсова о его деде со стороны матери, А. Я. Бакулине (1813–1893) – «писателе-самоучке», участнике сборника «Рассвет». Ему Брюсов посвятил несколько очень теплых страниц в повести «Моя юность», в мемуарных записях «Памяти» и небольшую статью «Стихотворения и басни А. Я. Бакулина»[10].

Брюсов признавал более чем скромным поэтическое дарование деда, его стихи он называет «милыми реликвиями», но его привлекала, вызывая уважение и восхищение, глубокая преданность деда литературе. Он «был довольно замечательным человеком, –

отмечает Брюсов, – <...> Он был поэт»[11]. Брюсов сочувствует деду, рассказывая о том отношении, которое сложилось в семье к его занятиям литературой: «Над дедом за его пристрастие к чтению, к стихам, за то, что сам исписывал груды бумаги, проводя за такой работой бессонные ночи, все кругом смеялись: сначала – старшие, отец и мать, после – братья, сослуживцы, знакомые, еще позже жена, а за ней – сыновья и дочери, особенно дочери. Этот смех застал еще я»[12]. По-иному складывались взаимоотношения с дедом самого Брюсова: «Дед первоначально любил меня, посвятил мне одну сказку и длинное стихотворение „Волки“. Позже он интересовался моими литературными опытами и отстранился от меня окончательно лишь после появления первого выпуска „Русских символистов“»[13].

В рассказе «Голубочки – это непорочность» наиболее сильно звучит человеческая жалость к «бедному дедушке», который предстает слабым, незащитным, обижаемым родными стариком. Двадцать пять лет спустя, в «Памятях» (конец 1923 г.), образ деда – «по-

эта-неудачника», всю жизнь прожившего «интересами, чуждыми и непонятными всем его близким, всем его окружающим», приобретает эпические черты, и линия литературного подвижничества, едва намеченная в рассказе «Голубочки – это непорочность», получает здесь главенствующее значение.

Можно отметить в рассказе и свойственную Брюсову любовь к Москве, к ее патриархальному облику; город здесь не враждебен человеку, а дружелюбен ему. Брюсов пишет об Анюте – девочке одиннадцати лет: «Она любила Москву. В этих грязных улицах, в этих неровных домах чудилась ей странная красота».

Традиционную для русской классической литературы демократическую и глубоко гуманистическую тему «маленького человека», обиженного и униженного косной обывательской средой, Брюсов разрабатывает и в некоторых других произведениях. Это рассказ «Бемоль» со знаменательным подзаголовком: «Из жизни одной из малых сих» (1903)[14], повесть «Обручение Даши» (1914–1915) и оставшаяся в рукописи повесть «Моцарт» (1915),

реалистически изображающая драму бедного музыканта[15]. Особое место среди произведений Брюсова о современной ему русской действительности занимает незаконченный роман из жизни московской купеческой семьи (1914–1917), главы которого печатаются в настоящем томе. Вызывая в памяти страницы горьковского «Дела Артамоновых», эти главы позволяют увидеть, что творчество Брюсова-прозаика все более развивалось в направлении к социальному реализму.

Довольно прочно утвердилось мнение о «чужестранности» (М. Цветаева[16]) Брюсова, подкрепленное утверждением А. Ильинского: «В то время как темы из древнеримской жизни являются любимым замыслом Брюсова со школьной скамьи до последних его дней, совершенно случайными являются темы исторических рассказов, повестей, романов и драм из русской жизни»[17].

На такой вывод безусловно повлиял тот факт, что оба опубликованных исторических романа Брюсова не касаются русской тематики. Однако даже в «Огненном ангеле» можно отметить любопытную деталь: Мефистофель,

рассказывая о путешествии с Фаустом по различным странам (часть II, глава XII), особенно выделяет путешествие в Московию, где «доктор Фауст показывал свою ученость при дворе княгини Елены, но остаться там не пожелал из-за лютых морозов». Московия – единственная страна, где Фауст выступает, по рассказу Мефистофеля, активно действующим лицом, в других же – в Италии, Греции, Египте, Турции – он всего лишь любопытствующий наблюдатель. В народной книге И. Шписа, послужившей источником для этого эпизода, нет ни Елены, ни показа учености, ни ссылки на лютые морозы, а содержится лишь беглое упоминание о России, зато о пребывании Фауста в остальных странах рассказано более или менее подробно.

Тема пребывания Фауста в России занимает Брюсова и позднее. Около 1910 г. он записывает план драмы «Фауст в Москве»[18]. Однако продуманная в деталях и, возможно, целиком «проигранная» в мысленном театре (все ее картины точно хронометрированы: «Пролог» – 10 минут, 3-я картина – 18 минут, 4-я картина – 5 минут и т. д.) драма эта оста-

лась ненаписанной.

Попытки перенести литературного или фольклорного героя-иноземца в русские условия Брюсов предпринимал неоднократно. В сказке «Фея Лилия» это – «немецкая фея»[19], в рассказе «Таинственный посетитель» – некий «бес», ведущий происхождение от «Хромого беса» Лесажа, очутившийся в Москве начала XX в.[20] К ним можно присоединить Арсена Люпена, героя детективных романов Мориса Леблана, – в незавершенном рассказе «Арсен Люпен в России» (1922)[21]. Того же плана замысел рассказа «Путешествие по России фон-Арнима в 1846 году» (1903)[22].

Поскольку в подобного рода произведениях герой-иностранец является по сути дела поводом, чтобы рассказать о стране, в которую он попадает, с достаточным основанием можно назвать все эти произведения Брюсова произведениями на русскую тему.

О том, что русская историческая тематика занимала в творческих замыслах Брюсова значительное место свидетельствует и программа грандиозной историко-художествен-

ной книги «Фильмы веков» [23], которая должна была охватить период от Атлантиды и Древнего Египта по крайней мере до конца XVIII в. (в плане есть тема «С.Ш.А.»). В плане книги представлены государства и народы Европы, Азии, Америки – Египет, Ассирия, Эллада, Рим, Византия, Арабы, Армения, Персы, Индия, Майя, Франция, Германия, Италия, Англия и др. И в этом перечне, содержащем 66 тем, русская историческая тема занимает 12 номеров, т. е. пятую часть (для сравнения: Эллада – 3 темы, Рим – 7 тем, Франция, Германия, Италия, Англия – по 4 темы). К сожалению, неизвестно, какие именно русские темы предполагал разработать Брюсов, так как в плане дано лишь их общее количество: «55–66. Россия. I–XII» с отсылкой: «см. отдельно». Отдельного списка не обнаружено, однако, место, уделенное в этом плане русской теме, само по себе показывает степень интереса Брюсова к русской истории.

Для Брюсова-прозаика характерно использование в качестве художественного приема внешних форм документальной прозы – мемуаров, записи рассказа очевидца, частной и

официальной переписки, научного отчета и т. д., что создает дополнительный эффект достоверности. Особенно часто Брюсов прибегает к этому приему в произведениях на исторические темы. В форме записок современника написаны самые крупные его прозаические произведения – романы «Огненный ангел» и «Алтарь победы», в форме мемуаров непосредственного участника событий был им задуман и роман из эпохи движения декабристов – «Записки декабриста Малинина», страницы которого публикуются ниже. Александр Никанорович Малинин – лицо вымышленное (среди лиц, связанных с движением декабристов, известен лишь один Малинин – полковник, который по заданию Следственного комитета проверял показания некоторых участников восстания). Выбор подобного героя давал простор авторской фантазии, предоставлял возможность создать собирательный образ.

Имитируя издание подлинных мемуаров, Брюсов снабжает «Записки декабриста Малинина» двумя предисловиями-редактора и автора, в которых содержатся некоторые све-

дения об авторе, о манускрипте записок, о принципах их издания.

Время работы над фрагментами «Записок декабриста Малинина» предположительно можно отнести к 1912 г., когда Брюсов, заведовавший тогда литературным отделом «Русской мысли», ознакомился с романом Мережковского «Александр I и декабристы» (напечатан под названием «Александр I»). Мережковский в письме к Брюсову от 14 марта 1912 г. писал: «Очень горжусь тем, что роман мой внушил вам желание написать повесть из 20-х годов» (ГБЛ, ф. 386. 94.45, л. 24).

В «Предисловии редактора» сообщается, что рукопись записок Малинина была найдена им летом 1904 г. Эту дату можно сопоставить с публикацией как раз летом 1904 г. в «Историческом вестнике» мемуаров Н. А. Бестужева «Из воспоминаний о К. Ф. Рылееве»[24]. Мемуары, прочитанные Брюсовым скорее всего в том же 1904 г., дали, возможно, первоначальный толчок к замыслу «Записок Малинина», близких к воспоминаниям Бестужева стилистически; также близка и общая трактовка события 14 декабря, как «горестно-

го и безнадежного», но «не прошедшего бесследно, ибо память его поныне призывает стремиться к светлым целям...»

Если учесть еще, что у Брюсова были замыслы таких исторических драм, как «Марина Мнишек» (1897)[25] и «Петр Великий» (1908–1909)[26], то можно прийти к выводу, что Брюсова в русской истории привлекали узловые исторические эпохи и самые значительные социальные и политические движения: национально-освободительная борьба начала XVII в., эпоха Петра I, декабристы. Отметим также, что в повести «Обручение Даши» (1915), основанной на материалах семейного архива писателя, проявился его интерес к эпохе 60-х годов XIX в. с их идейными веяниями, коснувшимися и патриархально-купеческой среды.

Будучи мастером литературной стилизации, Брюсов обращается и к русскому народному сказу. Его «Рассказы Маши с реки Мологи», включенные в настоящую публикацию, по форме представляют собой якобы фольклорную полевую запись, что должна подтвердить авторская справка: «Записано Новго-

родской губ., Устюжнинского уезда на р. Мологе, в 1905». Рассказы устюжнинской Маши о дворовых, домовых, баечниках-перебаечниках и других представителях деревенской «нечистой силы», безусловно, имеют фольклорный источник. Но характер работы над рукописью, с вариантами и правкой отдельных слов и выражений, убеждает в том, что перед нами оригинальное художественное произведение, лишь имитирующее фольклорный, сказовый стиль.

В «Рассказах Маши» Брюсов проявляет себя знатоком народной фантастики. Фантастическое во всех его проявлениях и аспектах всегда привлекало внимание Брюсова и находило отражение в его художественной практике.

Разновидностям фантастики как литературного жанра посвящена незаконченная и неопубликованная статья Брюсова «Пределы фантазии»[27]. Эта статья, написанная не ранее 1911 г. (наиболее позднее литературное произведение, упоминаемое в ней, роман Рони-старшего «Борьба за огонь» напечатан в 1911 г.), не только является свидетельством

глубокого интереса Брюсова к жанру фантастики, но и содержит интересные теоретические обобщения.

Брюсов перечисляет три приема, которые может использовать писатель при изображении фантастических явлений: «1. Изобразить иной мир – не тот, где мы живем. 2. Ввести в наш мир существо иного мира. 3. Изменить условия нашего мира». В эту схему укладываются все разнообразие литературно-художественной фантастики, включая и мистическую фантастику, и фантастику научную.

Завершающие настоящую публикацию произведения относятся к научно-фантастическому жанру и объединены общей проблематикой технического прогресса. Это прежде всего два однотемных отрывка «Восстание машин» и «Мятеж машин».

В перечне работ и замыслов Брюсова, относящемся к 1908 г., встречается тема «Ожившие машины»[28]. К этому же времени А. Ильинский относит и первоначальный, неоконченный вариант рассказа «Восстание машин. Из летописей ***-го века»[29].

В конце 1910 г. название «Ожившие маши-

ны» встречается в плане цикла «Злые сказочки»[30], состоящем из трех рассказов: «Университет»[31], «Бревно»[32], «Ожившие машины». Но замысел этого последнего, не осуществленного тогда рассказа плохо вяжется с остальными рассказами цикла, написанными в 1910 г. и являющимися скорее облегченными, поверхностными анекдотами, близкими к «сказочкам» Ф. Сологуба.

Вновь к теме «ожившие машины» Брюсов возвращается в 1915 г. Фрагмент 1915 г. по содержанию как бы предваряет фрагмент 1908 г., являясь своего рода историко-теоретическим предисловием к рассказу о самом событии; здесь же, в примечании, содержится авторское указание на главную задачу рассказа – показать «то темное и грозное», ту «пропасть», в которую ведет фетишизация техники, превращение человека в результате одностороннего развития цивилизации в жалкий придаток, в раба машин.

Если в «Восстании машин» и «Мятеже машин» изображается отрицательный результат успехов технического прогресса, то в набросках научно-фантастической повести о по-

лете землян на Марс «Первая междупланетная экспедиция» (вариант названия «Экспедиция на Марс»), относящихся к 1920–1921 гг., речь идет о большом достижении науки и техники. И хотя все герои повести Брюсова погибают, им удалось, но замыслу автора, все же – впервые в истории человечества – вступить на почву другой планеты.

Повесть должна была состоять из предисловия «От издателей», предисловия редакторов и записок одного из участников экспедиции. Только первое предисловие было написано полностью, второе осталось незаконченным, а основное повествование представлено лишь неполными тремя главами. Замысел повести претерпевал в процессе работы некоторые изменения, о чем говорит наличие набросков более ранней редакции. Менялись и имена персонажей (поэтому они не совпадают и в разных частях нашей публикации – в предисловии «От издателей» и в тексте записок).

Мысль написать о межпланетном путешествии принадлежит к числу наиболее ранних замыслов Брюсова, зародившихся еще в дет-

ские годы. Важной вехой в развитии темы космического полета для Брюсова послужило знакомство с работами Н. Ф. Федорова. «Русский философ Федоров, – пишет Брюсов в статье „Пределы фантазии“, – серьезно проектировал управлять движением Земли в пространстве, превратив ее в огромный электромагнит. На Земле, как на гигантском корабле, люди могли бы посетить не только другие планеты, но и другие звезды. Когда-то я пытался передать эту мечту философа в стихах, в своем „Гимне Человеку“»:

*Верю, дерзкий! ты поставишь
По Земле ряды ветрил.
Ты своей рукой направишь
Бег планеты меж светил...*

В перечне замыслов 1908 г. Брюсовым назван рассказ «Путеводитель по Марсу»[33]; к дореволюционным годам (судя по орфографии) относится имеющийся в архиве листок с математическими расчетами о времени перелета с Земли до Марса[34]. В архиве писателя имеется также вырезка из газеты «Речь» с сообщением о докладе Я. И. Перельмана «Межпланетные путешествия: в какой степени

можно надеяться на их осуществление в будущем», состоявшемся 20 ноября 1913 г. в «Русском обществе любителей мироведения» [35].

Но в дореволюционные годы Брюсов интересовался темой междупланетных полетов не специально, а, так сказать, попутно. Именно первые годы революции с их пафосом устремленности в будущее побудили его заняться вплотную темой освоения космоса; заметим, что действие публикуемой повести он относит ко времени победы революции во всем мире, употребляя по отношению к участникам экспедиции – американцам советскую форму обращения «товарищ».

В 1919–1920 гг. Брюсов знакомится с работами К. Э. Циолковского, интересуется им самим и задумывает написать книгу о нем. Как-либо следов работы над книгой о Циолковском пока не обнаружено, но имеется авторитетное свидетельство об этом замысле и об отношении Брюсова к Циолковскому.

Осенью 1920 г. состоялась встреча Брюсова с ученым-гелиобиологом, поэтом, сотрудником и другом Циолковского – А. Л. Чижевским. Брюсов пригласил его к себе специаль-

но для разговора о Циолковском.

А. Л. Чижевский оставил воспоминания об этой встрече[36].

По свидетельству Чижевского, Брюсов назвал Циолковского человеком исключительного дарования, оригинальным мыслителем. Он сказал: «Циолковский – интереснейшая личность нашего века. Скала среди бурного океана непонимания. Будущее поколение создаст о нем легенды».

«Я интересуюсь, – говорил Брюсов, – не только поэзией, но и наукой, вплоть до четвертого измерения, идеями Эйнштейна, открытием Резерфорда и Бора... Материя таит в себе неразгаданные чудеса... Что такое душа, как не материальный субстрат в особом состоянии! Но Циолковский занимается вопросами космоса, возможностью полета не только к планетам, но и к звездам. Это несказанно увлекательно и, по-видимому, будет осуществлено... Меня интересует личность Циолковского... Ведь он только учитель городской школы, а как далеко он продвинул свои идеи! Многие его не признают, но это ровно ничего не значит – великих людей часто признают

только после их смерти. Не в этом, конечно, дело, а в том, что он является носителем ска- зочной идеи о возможном полете в другие миры на ракетных кораблях. Эти идеи вдох- новили меня на создание нескольких стихо- творений... Читали ли вы их? по этому вопро- су я говорил с некоторыми нашими физика- ми – они смеются над Циолковским, но прин- ципа ракеты не отрицают. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. К Циолковскому отношение несерьезное, но я бы написал о нем книгу, я думаю об этом...»

Рассказывая о темах этого разговора, Чи- жевский отмечает, что «Брюсова больше все- го интересовал вопрос о возможности полета в космос». Это и понятно: как раз в то время Брюсов работал над повестью «Первая меж- дупланетная экспедиция».

Надо отметить, что повесть Брюсова по по- ставленным автором перед собой задачам и подходу к материалу близка к научно-фанта- стическим повестям Циолковского. Как и по- вести Циолковского, она более научна, чем фантастична, главной ее темой является на- учное познание, содержанием – сообщение

пусть гипотетических, но основанных на данных науки сведений, ее занимательность заключена в занимательности самого научного материала.

Ввиду малой изученности работы Брюсова как прозаика, окончательные выводы в отношении его прозы преждевременны, поэтому и настоящее предисловие содержит лишь некоторые фактические пояснения к небольшому комплексу прозаических произведений и замыслов Брюсова, правда, хронологически охватывающему весь его творческий путь.

Несомненно одно: работа Брюсова в области художественной прозы занимает важное, а в отдельные периоды даже ведущее место в его творческой жизни и по своему характеру часто является экспериментальной, что нашло отражение и в одном замечании 1912 г., сделанном как бы мимоходом, но имеющем под собой глубокий личный опыт:

«Неужели начинающие поэты не понимают, что теперь, когда техника русского стиха разработана достаточно, когда красивые стихи писать легко, по этому самому трудно в области стихотворства сделать что-либо свое.

Пишите прозу, господа!

В русской прозе еще так много недочетов, в обработке ее еще так много надо сделать...»[37].

ПРИМЕЧАНИЯ

1 И. Поступальский. Проза Валерия Брюсова. – В кн.: Неизд. проза, стр. 159.

2 И. М. Брюсова. Неопубликованный вариант предисловия к сб.: Неизд проза. ГБЛ, ф. 386.67.8, л. 2–3.

3 ЛН, т. 27–28, стр. 474.

4 Мой Пушкин, стр. 95–96.

5 Дневники, стр. 10–11.

6 Другое название рассказа – «Его любовь». ГБЛ, ф. 386. 35 б. 55.

7 Обзор ранних прозаических работ и замыслов дан в статье Н. К. Гудзия «Юношеское творчество Брюсова» (ЛН, т. 27–28).

8 ГБЛ, ф. 386.4.7.

8 Из моей жизни, стр. 70–71.

10 РА, 1903, № 3, стр. 437–444.

11 Из моей жизни, стр. 11.

12 Там же, стр. 90

13 Там же, стр. 12.

- 14 «Земная ось». М., 1907; 3 изд. – 1911.
- 15 ГБЛ, ф. 386.35.5–9.
- 16 М. Цветаева. Проза. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1953, стр. 259.
- 17 ЛН, т. 27–28.
- 18 ГБЛ, ф. 386.30.10.
- 19 ГБЛ, ф. 386.35.48.
- 20 ГБЛ, ф. 386.35.43.
- 21 ГБЛ, ф. 386.34.12.
- 22 ГБЛ, ф. 386.35.17.
- 23 Второй план книги «Фильмы веков» с подзаголовком «66 картин из жизни народов разных времен и стран». ГБЛ, ф. 386.35.47, л. 3.
- 24 «Исторический вестник», 1904, кн. IV, стр. 118–135.
- 25 Дневники, стр. 28.
- 26 ЛН, т. 27–28, стр. 470.
- 27 ГБЛ, ф. 386, 53.5, л. 1.
- 28 ГБЛ, ф. 386.4.34.
- 29 ЛН, т. 27–28, стр. 457.
- 30 ГБЛ, ф. 386.35.1, л. 1.
- 31 «Огонек», 1925, № 40.
- 32 «Красная Нива», 1926, № 42.
- 33 ГБЛ, ф. 386.4.34.
- 34 ГБЛ, ф. 386.35.11, л. 4.

36 ГБЛ, ф. 386.67.8.

36 А. Л. Чижевский. Вся жизнь. М., «Советская Россия», 1974, стр. 74–79.

37 Далекие и близкие, стр. 199–200.

У Мецената

*...Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а щука тянет в во-
ду.*

*Эпиграф из «Литературного вечера»
Гончарова[1]*

В кружке Мецената участвовали сегодня необычные посетители.

Было время, когда этот кружок царил в Риме полновластно. К его мнениям прислушивались; его суждение было приговором для начинающего писателя.

Но, как и должно было ожидать, деспотизм вызвал противодействие. Сначала некто Мессала позавидовал положению Мецената и собрал свой литературный кружок, где роль главного поэта разыгрывал Тибулл. Там нашли себе приют противники Горация, сторонники Александрийской поэзии и старины, Ти-

геллий, Деметрий. Затем, через несколько лет, образовалось более серьезное общество, которое группировалось вокруг Овидия. Здесь были и такие имена, как Макр (Macer), уже пожилой талантливый писатель, не попавший ни к Меценату, ни к Мессале, но главным образом собирались молодые поэты, как Сабин, сотоварищ Овидия, или Тутикан, прославившийся впоследствии переводом Одиссеи. Посещал эти собрания также Проперций, который собственно принадлежал к кружку Мецената.

Овидий в это время только что выступал из рядов заурядных поэтов, которых было так много в век Августа. Еще юношей он декламировал публично свои стихи, никого не поразившие; потом издал «*Heroides*», тоже прошедшие незамеченными. Внимание было привлечено только отрывками из новой поэмы, которую Овидий, по своему обыкновению, сначала декламировал. Наконец появились первые три книги «*Amorum*»[2] и сразу поставили Овидия на одно из первых мест среди современных писателей. Его стихами прямо увлекались, и некоторое время весь

Рим повторял их.

Этот необыкновенный успех заставил кружок Мецената обратить внимание на молодого поэта. Круг старых корифеев, все еще называвшийся молодою школою, с каждым годом становился все теснее. Не так давно опустело одно славное место, выбыл любимый, добрый товарищ, едва ли не основатель общества: умер Вергилий. Прилив новых сил был бы очень кстати, и Меценат поручил Проперцию стороною разузнать настроение нового кружка. Проперций принес известие, что там глубоко уважают прославленных творцов новой поэзии и против соединения не имеют ничего. Таким образом произошло то, что в тесный круг друзей вступили сегодня новые лица.

Меценат не забыл мудрого правила, чтобы число собеседников не было менее числа гостей и более числа муз. Из обычного общества были приглашены только наиболее известные лица и лучшие друзья хозяина: Барий, Гораций, Тукка и Проперций. С Овидием прибыл его лучший друг Сабин, а, чтобы придать больше веса посещению, и старик Макр.

Всех было восьмеро.

На главном месте, как хозяин, помещался Меценат, одетый по обыкновению в широкую, свободную тогу. Рядом с ним возлежал Горацій. В это время он был уже немолод, а на лицо казался старше своих лет. Невысокий и сутуловатый, он привлекал к себе только открытым взором и задумчивым выражением лица. В последние годы его жизни прежняя постоянная веселость, которую он получил от природы, сменилась скорее грустным настроением.

С другой стороны Мецената оказался Проперций. Он поместился так, что был близко ото всех. Вдали от него остался разве только Плоций Тукка, который важно возлежал на противоположном конце стола с глубокомысленным выражением лица.

Овидий, Сабин и Макр расположились рядом. Свободнее всех чувствовал себя Овидий. С обычной веселостью осматривал он общество и с трудом скрывал усмешку, когда встречал суровый взгляд Вария. Этот вообще был недоволен предстоящим соединением двух обществ; обращение гостей раздражило

его еще более. Он свысока поглядывал на них, с полным сознанием своей гениальности и своего значения как величайшего римского поэта.

Первое время разговор клеился плохо, так как положение собеседников было слишком условным. Впрочем, все собравшиеся вполне обладали тем искусством вести разговор, которое так ценилось в Риме и для которого был особый термин *urbanitas*. Сначала Тукка произнес несколько приветственных слов, потом говорили о цели собрания.

– В наше время нельзя работать отдельно, – говорил Меценат. – Рим соединился в одну семью.

– И мы должны соединиться, – подтверждал Проперций.

– Свершилось великое деяние, – продолжал Меценат, – и государство римское, ставшее единым, призывает всех нас трудиться на мирном поприще.

– Оно и приятнее, – заметил Овидий, – я, например, всегда предпочитал надевать венок, а не шлем и надеюсь до конца жизни не брать в руки меча.

– Это, пожалуй, немного слишком, – мягко возразил Гораций. – Суровая военная служба укрепляет человека и учит юношу терпеливо переносить все невзгоды жизни.

Эта фраза была наполовину поучением. Разговор с самого начала сбивался на общие вопросы, что было совершенно в характере пиров у Мецената. У него не бывало ни плясок танцовщиц, ни драматических представлений, и лучшим развлечением для гостей служила серьезная беседа.

Видно было, что слова Горация затронули Овидия, и Сабин поспешил защитить его.

– Хорошая выйдет школа для юноши, если он будет убит!

– Поверь, что умереть за отечество не только славно, но и приятно.

Проперций восторженно поднял глаза к потолку.

– Кабы мы сами да следовали своим советам, – в сторону, но так, чтобы его слышали, проговорил Сабин.

Этот намек заставил Горация смутиться. Как это с ним всегда бывало при насмешке, он не нашелся, что сказать. Овидий строгим

взглядом остановил товарища. Все почувствовали себя неловко, и только Проперций, заметя, что Гораций и Меценат не видят его, сделал вид, что смеется.

– Это, кажется, упрек нашему другу, – сказал Тукка. – Ты хочешь напомнить поражение Брута?

– Никто из нас не упрекает Горация, – поспешил вмешаться Макр. – Наш великий поэт уже давно сам произнес суд над этой ошибкой юности.

Проперций тотчас продекламировал:

*С тобой Филиппы вместе я пережил,
В отчаянном бегстве бросив постыдно щит,
В тот час, как доблесть погибала.
Гордые ж воины лежали в прахе.*

– Да, теперь даже невероятно, что некогда наш Гораций стоял с мечом в руках противу войск великого Августа! – воскликнул Меценат.

– Не вечно быть юношей, – заметил Варий. – Человек мужает. Взгляды изменяются.

Юноше кажется прекрасным; старцу – смешно.

– В заблуждениях должно признаваться, – заговорил Гораций. – Теперь, друзья мои, я глубоко уважаю Августа и думаю, что разделяю чувство всех истинных римлян. Посмотрите, разве не благодаря Августу везде спокойствие и закон? разве не благодаря ему для Рима не страшны теперь ни враги, ни разговоры?

– Поэтому еще раз выпьем за его здоровье.

И Меценат сделал знак рабам, беспрестанно разносившим лучшее греческое вино.

– Всякий, – подхватил Гораций, – вернувшись домой после дневной работы, за чашей с вином боготворит Августа.

Овидий и его друзья промолчали.

– Такие же чувства питает и Август к тебе, – начал вкрадчиво Меценат. – Мне даже странно, что вы еще до сих пор несколько далеки друг от друга. Кстати, еще недавно он просил меня передать тебе письмо...

Лицо Горация приняло серьезное выражение.

– ...письмо, где он с открытой душой пред-

лагает тебе свою дружбу.

– Оставим это, – быстро сказал Гораций. – Ты знаешь, как я уважаю Августа; но быть ему таким другом, как тебе, я не могу.

– Ты хочешь польстить мне.

– Нет, Меценат! Что я люблю тебя, ты, конечно, не сомневаешься. Знай: день твоей смерти будет и моим последним днем.

– Ты забываешь, что дружба императора Августа есть высочайшее счастье на земле.

– Мне не надо большего счастья, чем то, которым я обладаю.

– Вопрос, в котором мы никогда не сойдемся с тобой, добрый Гораций.

– Я скорей соглашусь с тобой, Меценат, – заметил Овидий. – У жизни надо брать все, что она может дать.

– Зачем так много? В жизни надо искать только счастья, – возразил Гораций. – Кто не предпочтет быть счастливым поденщиком, чем несчастным завоевателем.

– Я и стремлюсь к счастью, когда вырываю у жизни ее дары! – воскликнул Сабин.

– Всем обладать невозможно. Сколько бы ты ни имел, всегда найдешь, чего добиваться

еще, и тебе придется вечно гоняться за счастьем, никогда не испытывая его.

– Может быть, счастьем мы и называем именно эту погоню за ним, – возразил Овидий.

– Вряд ли забота может быть счастьем. Посмотрите на весь мир; все стремятся только к одному, ищут только одного: спокойной жизни.

– Итак, счастье – обладание? – вставил Варий. – Быть счастливым значит не искать, а иметь. Отсюда, чем большим обладаешь, тем счастливее.

– Ты не так объясняешь мои слова, Варий. Разве я когда-либо указывал счастье в богатстве? Я даже не понимаю, как его можно видеть там. Счастье – это душевное состояние, а его не купишь за деньги.

– За деньги купишь твою спокойную жизнь. Жить спокойно можно благодаря деньгам.

– Ты противоречишь самому себе. Жить спокойно можно и с маленьким достатком. Подумай хотя вот о чем. Ведь рано или поздно ты умрешь, куда же денутся твои деньги?

– Перейдут к детям, – тотчас объяснил Тук-ка.

– А если и дети будут рассуждать так же, как вы, и все собирать, собирать, ничем не пользуясь?

– Он попал на своего конька, – шепнул Овидию Проперций, который в серьезные разговоры не вмешивался. – Теперь будет говорить, пока не усыпит всех.

– Ну и выпрашивать кусок хлеба у прохожих не особенное-то счастье, – заметил Горацию Сабин.

– Зачем такие крайности? Всему есть разумная мера. Счастье именно в золотой середине, когда человек далек от забот и довольствуется малым.

– Причем он рискует проснуться завтра голодным.

– Не заботься о завтра, а чего нельзя избежать – переноси! Что касается, например, меня, я счастлив в своей Устине. Живешь себе близ природы, не ведая волнений жизни... Ах, Меценат, я всю жизнь буду тебе благодарен за твой подарок.

– В жизни есть высшие цели, – заговорил

Варий. – Мало одного спокойствия. Человек создан к большему. Есть польза отечеству; есть слава.

– Варий прав, – согласился Макр. – Подумай, Горацій, как были бы жалки люди, если бы они ограничили свою жизнь такими ничтожными стремлениями, как тишина и отсутствие забот.

– Да, здесь есть доля правды, – принужден был подтвердить и Горацій. – Конечно, есть и другие истинные наслаждения. Я не нашел бы их ни в удачной охоте, ни в победах на ристалище, ни в почестях, которые раздает народ. Лично я понимаю еще только наслаждение поэзией. Его, как мне кажется, не заменит ничто. Кто раз отдался этим музам, тот их навек!

– О, поэзия! – воскликнул Меценат, который давно искал случая вставить слово. – Поэзия – это отблеск божественного нектара на земле, поэзия – это нечто поднимающее человека до богов, превращающее его... делающее его...

– Участником олимпийских пиршеств, – подсказал Проперций,

– Участником олимпийских пиршеств, – закончил Меценат.

– Поэзия – это высшее из искусств, – точно определил Тукка.

– Поэзия – это жизнь, – сказал Гораций.

Овидий не согласился.

– Нет, она не жизнь! Это – только сон, чарующий и прекрасный, но не голос истины. Поэзия – это эолова арфа, которая усыпляет человека, а не будит его.

– Никогда! – горячо вступился Гораций. – Поэзия не забава. Она – достояние людей, одаренных талантом и с душой, вдохновляемой высоким. Поэзия должна стоять на высоте политических и нравственных вопросов, а не служить одному усыплению.

– Где ты найдешь такую поэзию? – спросил Овидий.

– ...Чтобы она не была при этом риторическим сводом нравственных правил, – окончил его фразу Сабин.

Гораций не обратил внимания на это замечание.

– Где? – Всюду, везде у великих поэтов, у наших вечных учителей – греков!

– Ну, ее никто слушать и не хочет, – бросил Сабин.

– Может быть! Но это показывает только наше падение.

– Старики предпочитают вздорную александрийщину, а юноши пустого Катулла, – заметил Тукка.

Овидий хотел возразить, но Гораций уже продолжал:

– Где мы видим особенное падение, это – в нашем отношении к театру. Теперь любят одни мимы, а в трагедии смотрят только белых слонов, жирафов да разные удивительные процессии.

– Верно! – заговорил Варий. – Хороших трагедий не понимают. Нужны ужасы. Нужны машины. Поневоле угождаешь зрителям. Впрочем, и тогда они предпочитают пустые трагедии.

– Да, да, – с преувеличенным сожалением подтвердил Сабин, – вот и твои трагедии смотрят мало.

– Не о моих трагедиях говорю! Впрочем, конечно. Я – старик; я могу говорить. Конечно, я создал римскую трагедию. Мало того. Смело

могу сказать, что пока я единственный...

– ... Трагик у римлян, – иронически подхватил Сабин.

Овидий готов был вспыхнуть, но Гораций смягчил слова своего друга.

– Исключение, конечно, «Медея» нашего нового друга. В этой трагедии он сделал возможным невозможное: сравнялся с твоим «Фиестом».

Меценат, видя, что разговор начал принимать слишком личный характер, поспешил на помощь.

– Не прочитает ли нам Овидий что-либо из своей новой поэмы? В Риме ходят об ней столь восторженные рассказы.

– Да, ты должен сделать это, так как сам заинтересовал нас, – поддерживал Тукка. – Помнишь?

Может быть, я искусство любви поведаю после.

– О, это – чудная поэма, – воскликнул как бы про себя Проперций.

– Не отказывайся, Овидий, – дружески настаивал и Макр.

Овидий не заставил себя просить долго. В противоположность Горацию он любил декламировать свои стихи.

Рабы принесли новый запас фалернского; все наполнили чаши, а Овидий привстал со своего места. Выбрал он для декламации начало поэмы «Искусство любви», которую писал в то время.

Читал Овидий прекрасно; изящные двустишия сразу овладели вниманием слушателей.

Если кто еще не знает искусства любви, то пусть выслушает эту поэму и любит уже со знанием. В самом деле, кто вздумает лететь в колеснице на олимпийских играх, не умея управлять конями? кто пустится в открытое море на челне, не зная, как взяться за весла? Между тем, сколько людей отдаются любви, не ведая ее законов!

После этого вступления следовали самые правила нового искусства. Разбирался вопрос, где лучше завязать знакомство. Конечно, там, где бывает стечение народа: в храмах, в театрах, на играх. Особенно удобно это в цирке, потому что там женщины сидят вместе с

мужчинами. Все заняты ареною; никто на тебя не обратит внимания, а, между тем, множество народа заставляет тесниться.

К женщине ближе садись (помехи в этом не будет!)

Можешь к ней в тесноте даже прижаться совсем.

Если пылью обдаст, поспеши на помощь к соседке; –

Есть ли, нет ли песку, все же ее отряхни.

Декламируя, Овидий увлекся. Он не замечал, как восхищение слушателей переходило в удивление, а удивление в негодование. (Они слишком привыкли к новой строгости Августа в вопросах нравственности, да и Овидий был такой поэт, что заслужил от современников прозвание *adulter*[3].)

Опьяненный музыкой строф, Овидий уже уклонился от темы и отдался импровизации, которая ему всегда так хорошо удавалась. Легкие пентаметры опережали тяжелый гекзаметр; стих низался на стих, и всё свободной волной катилось вперед. Звучали истины и парадоксы, сменялись лица, мелькали карти-

ны и сцены так быстро, что мысль отказывалась следовать за этим безумным полетом фантазии. Наконец, сам Овидий в изнеможении бросился на ложе и схватил чашу с вином.

Проперций все время посматривал на улыбающегося Макра и на рассерженного Мецената и не знал, что ему делать. На всякий случай он сложил губы в насмешливую улыбку, а, едва Овидий кончил, поднял руки для аплодисментов, но, остановленный строгим взглядом Вария, мог только произнести:

– Конечно, это прекрасные стихи, но...

– Но за такие стихи сослать бы вас в Британию, – прямо сказал Тукка.

– Это почему же? – спросил Овидий, улыбаясь и подымая чашу.

– Клянусь Юпитером, это слишком, – проговорил, наконец, Меценат. – Вот – они, молодые поэты! Вот кто развращает Рим, низвергает его с высоты добродетелей, а не империя, как смеют говорить!

– Это уже и не поэзия, – сказал Варий.

– Да почему же?

Будем, Лесбия, жить и любить!

– Да разве это значит любить? – начал было Тукка, но Варий перебил его:

– В жизни есть высшие цели. Это вот вы, молодые поэты, не видите ничего иного. Вам все нужны разные Коринны да Лесбии! Вот что вы воспеваете.

– Ты слишком увлекаешься, – старался смягчить эти слова Гораций. – Что в жизни выше любви? За один волос своей милой я отдам все богатства земли!

– Эти поэты развращают юношество, – твердил Меценат.

– Но всему есть своя мера, – продолжал Гораций. – Веселись, отгоняй все заботы, но, как мудрец, умеренно и здраво.

– О, вы, здравомыслящие люди! – вскричал Овидий, на которого уже начинало действовать вино, – ползите свою жизнь черепахой, а я хочу сжечь ее молнией!

– Выбирайте достойный предмет для своих произведений, – горячился издали Тукка.

– Разве их мало? – поддерживал его Варий. – Великие предки, победы, боги.

– Не чувствую в себе сил состязаться с вашим творцом «Энеиды»!

– Нет, Овидий, ты не прав, – все примирял Гораций. – Я сам не стал бы писать героической поэмы. Предоставим это более сильным – Варию, Вергилию, но не будем умалять их заслуги.

Между тем, разговор уже разделился на две половины. Сабин усердно спорил с Барием и Туккою.

– Пиши, что есть, – твердил Сабин.

– Поэт есть прорицатель, – волновался Варий. – Он должен быть выше людей. Он должен обладать возвышенной душой.

– И главное чистой душой, – вмешался в этот спор Гораций. – Я старше вас, друзья мои, так поверьте мне в науке жизни. Человек с чистою душою чувствует себя всегда счастливым и везде безопасным...

– Как же! мы это уж слышали, – прервал Сабин. –

*Пел Лалагу я и, в лесу Сабинском
Далеко бродя беззаботно, встре-
тил
Волка, но меня (безоружен был я)
Он не коснулся.*

Любопытно было бы посмотреть такого

волка, да, кроме того, мы помним другие твои стихотворения...

Овидий опять остановил его взглядом.

– Не забывайте стихов нашего учителя Каталла:

*Настоящий поэт быть должен
чистым,
Но твореньям его того не нужно.*

– Кто не знает, что ваш учитель был еще хуже вас, – проворчал Тукка.

– Я удивляюсь, как великий Август терпит все эти произведения, – угрожал Меценат.

– Зато наши произведения читают, а иные свитки лежат нетронутыми в библиотеках, – уже прямо грубо произнес Сабин.

– Да, вы успели развратить весь Рим, но погодите – дождетесь и вы возмездия.

Овидий пытался овладеть собой.

– Гораций сказал, что поэзия есть жизнь. Вот эту жизнь мы и даем вам.

– Подонки жизни, – сказал Варий.

– После того, что сделали наши великие друзья – Варий, Вергилий и Гораций, – разъяснял Тукка, – нельзя писать старые александрийские стихи.

дрийские шуточки.

– Никто их заслуг не отымает, но они уже сделали свое дело.

– А мы идем вперед, – разгорячился Сабин, – вы же не умеете за нами следовать.

– Мы не хотим, – отрезал Варий. – Мы знаем свой путь. Мы идем, куда находим нужным.

Спорящие увлекались. Гораций видел необходимость дать им успокоиться.

– Друзья мои, каждый из вас прав по-своему. Позвольте мне, старику, сказать несколько примирительных слов. Я смело могу утверждать, что теперь я любимейший поэт среди римской молодежи.

– Утверждать можешь, но будет ли это правда, – пробормотал Сабин, но Гораций не обратил на него внимания.

– Зависть притупила о меня зубы. Поэтому, если я расскажу вам свою жизнь, я скажу многое о поэте вообще.

Друзья поспешили приветствовать это предложение, а Сабин сделал вид, что обрекает себя на жертву. Чаши наполнили хиосским, и Гораций начал свой рассказ, надеясь,

что в продолжение его страсти улягутся.

– Писать я начал с горя, друзья мои. В то время я был в очень тяжелом положении. Я был одинок. Матери вообще я не помнил, а отец недавно умер... Ах, я не могу упомянуть о нем без того, чтобы лишний раз не выразить своего уважения. Это был истинно достойный человек, и для меня он не жалел ничего.

Сабии начал уныло рассматривать солонку.

– Тогда только что после разных скитаний я попал в Рим. Был я еще очень молод, а в прошлом уже было постыдное пятно. Ведь мне едва минуло 22 года, когда я вступил в ряды Брута. Поэтому доступ к должностям был мне почти закрыт. К тому же и знания мои были невелики. Учился я в детстве у некоего Орбилия...

– Это тот самый, что написал книгу о суетности и неблагоразумии родителей, – объяснял Макру на другом конце <стола> Тукка.

– ...У Орбилия. Но читали мы с ним более Ливия Андроника. Был я потом в Греции и, если что знаю из школьной мудрости, то обязан

этим моим тамошним учителям – Осомнесту и Кратипшу. Но всего этого было слишком недостаточно, чтобы добиться какого-нибудь места бывшему заговорщику. Имена мои были конфискованы, и вот в конце концов пришлось мне поступить на грошовое жалование к какому-то квестору в писцы. Жилось скверно, да и в будущем не было ничего. Вот тут-то я и ухватился за поэзию.

Рассказ начал заинтересовывать слушателей.

– Я уже и прежде писал стихи, но греческие. Теперь я попробовал все разнообразие греческих размеров применить к родному языку, перенести, так сказать, эолийскую песнь в Италию. Друзья мои, если я могу чем-либо гордиться, то именно тем, что первый сблизил римскую поэзию с греческой.

Сабин сложил свои губы в улыбку сомнения.

– В то время я впервые понял, какое значение имеет для меня поэзия! В ней я находил все, чего был лишен тогда: надежды, дружбу, счастье. А скоро она принесла мне и действительно друзей. Мои стихи заметили. На бед-

ного поэта обратили внимание... ты, Варий, и потом Virgiliy... Увы! Со смертью его, мне кажется, я потерял полжизни.

Гораций отпил от чаши.

– Как сейчас помню ясный весенний день. Право, тогда дома Рима выглядывали более белыми, а черная мостовая его сверкала чудно под лучами солнца. Я шел с Virgiliem к тебе, Meценат. С тех пор я нашел свой путь жизни. Моя муза шла всегда рядом, рука с рукой, и с ней мне не были страшны никакие неудачи. Но я никогда не играл поэзией. Каждый стих стоил мне глубоких дум и осторожной работы. Я твердо верую, что гордая богиня требует себе достойной брони; ее статуе нужен пьедестал. И теперь, почти совершив свой жизненный круг, я скажу, что исполнил свое дело. На закате дней меня утешает надежда, что мое имя займет достойное место среди других римских поэтов.

– Да! наши имена не умрут, – подтвердил Варий.

Этого уже не мог перенести Сабин. То была капля, переполнившая сосуд.

– Конечно, долго еще будут изумляться на

твои бессмысленные сцепления убийств, которые ты называешь трагедиями!

– Вы были бы великими поэтами, – воскликнул тогда и Овидий, – если бы можно было добиться талантливости терпением!

– Хорош талант болтать водянистыми стихами о любовных историях, – сказал Варий.

Овидий вспыхнул.

– Зато мои водянистые стихи льются так же свободно, как и разговор, а в ваших греко-римских фразах не разберешь даже в чем дело!

– Каковы стихи в «Медее»! Герои говорят, как простые люди!

– Верно, что у твоих героев такой язык, как люди не говорят!

– Друзья мои, – пытался успокоить всех Гораций, – вы забываете, что и возвышенный стиль, и легкость имеют каждый свою красоту.

– Поэзия не может жить в цепях, – заявил Сабин.

– Как в цепях? Почему в цепях? Что значит в цепях?

Тукка старался что-то разъяснить вдали,

но его не слушали. Овидий волновался.

– Вы говорите, что поэзия жизнь, а сами заставляете ее служить господину.

– Меценат собирает к себе шутов и поэтов. Ему все равно, что интересный драгоценный камень, которые он так любит, что знаменитый поэт.

Долго молчавший старик Макр нашел, что пора вмешаться.

– Друзья, на вас действует вино.

– Не вино, а слова этих писак! Они говорят, что мои поэмы забавляют только чернь, и забывают, что их стихи нравятся лишь Меценату да Августу, которых они воспевают.

– Ты оскорбляешь Августа! – закричал Овидию Меценат.

– Уж, конечно, ты не скажешь ничего такого об нем. Ты предоставляешь ему все взамен его подарков: и свою совесть, и свою жену.

– Мальчишка, ты меня оскорбляешь!

– Друзья, мы в доме этого человека, – останавливал Макр, привставая с своего ложа.

– Да, может быть, я мальчишка, но восходящее солнце потом осветит весь мир, а тлеющая лучина только погаснет с копотью.

– Вот они, молодые поэты, – говорил Тукка. – Они напиваются на пирах и оскорбляют хозяина дома.

– Им делают честь. Их приглашают в общество, где я, где Гораций, – задыхался Варий. – Вот благодарность.

– Об себе-то ты молчал бы, – вышел из себя Овидий. – В твоих трагедиях нет даже смыслу. Да и стихи Горация только работа трудолюбивой бездарности.

Макр встал с своего места.

– Нам пора проститься, Овидий.

– Оставь меня, Макр. Не они нам, а я сделал им честь посещением. Когда никто уже не вспомнит имен Вария и Горация, мои стихи еще будут звучать по всему миру! До меня у нас не было поэтов; были только подражатели грекам, и, боюсь, что со мной умрет единственный римский поэт. Скорее пожалеем этих людей, а не будем унижать их. Оставим их пресмыкаться у ног Мecenата и писать поэмы ради подачек; наша поэзия не требует себе покровителей и наград; она свободна и вечна. Это – заря, что освещает весь Рим! Прощайте. Идем!

Когда званых посетителей уже не было в комнате, откуда-то появился Проперций, исчезнувший во время бурной сцены.

– Они любят пьянствовать в кабаках за Субуррой, – сказал он.

– Лучшего от этих тунеядцев я и не ожидал, – заметил Тукка.

– Нет! надо открыть глаза Августу, – продолжал волноваться Меценат.

– Увы, вот преемник. Овидий будет первым после нашей смерти, – сокрушался Варий.

– Если преемником будет такая бездарность, то погибнет и поэзия, – подхватил Проперций.

Горацій долго молчал и только потом задумчиво промолвил:

– Все же у него есть талант.

– О, без сомнения, – подтвердил Проперций.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Благовещенского[4] я не достал, так что пользовался Модестовым[5], а у него нашел

очень небольшое. За неимением матерьяла ухватился за первый попавшийся сюжет, но разработать его не успел, так как пишу все очень медленно.

Целью моей была характеристика участвующих лиц (во-первых, конечно, Горация), а вовсе не решение поднятых вопросов. При этом я старался рисовать не столько римлян, сколько вообще людей.

Почти все слова Горация и Овидия взяты из их произведений[6]. Цитаты могли бы облегчить меня, но я не смел их себе позволить, так как многие ссылки взяты из вторых рук.

В заключение несколько слов о стихотворных отрывках, которые попадают в сочинении. Переводя их, я старался приспособиться к латинским метрам, но делал это больше ради опыта. Я не поклонник переводов размером подлинника. Каждый язык имеет свое собственное стихосложение, и размер, мягкий на одном языке, может оказаться грубым, если его перенести на другой. Вообще, на мой взгляд, перевод поэтического произведения (особенно это заметно в лирике) имеет целью вызвать то же впечатление, как и под-

линник, а не ознакомить с ним, что невозможно.

План сочинения

В начале вступление; в конце заключение.

1. Мнения о войне.

2. Мнения об Августе.

3. Мнения о счастье и о золотой середине.

4. Мнения о поэзии.

а) Определение поэзии.

б) Современное положение ее.

5. Взгляд на самого себя.

Кроме того, по сочинению разбросаны и мнения о других вещах (о любви, о политике etc).

<1893>;

ГБЛ, ф. 386.4.16, л. 2-17. Беловой автограф в тетради ученика VIII класса. В подлиннике «Объяснение» дано перед текстом сочинения.

Голубочки – это непорочность

В окно виднелись уродливые московские крыши; вдали неясно рисовались главы собора; у самого стекла мелькали голуби.

– Ты что там делаешь, Анюточка? – позвал старик.

– Мне, дедушка, велели прошение переписать.

– Ну, успеешь, пооди, посиди со мной.

Она села на ручку кресла, совсем прижавшись к деду и обняв его рукой.

– Вот этот вид в окно, он тоже символ, – говорил старик. – Это высоты жизни, им и приходится встречать непогоду, но рядом главы собора. А голубочки – это непорочность. Анюточка, брось им крошек.

Девочка отыскала кусок хлеба и стала крошить его в форточку. Приятная свежесть ранней весны проникла в душную комнату.

– В деревне теперь, – опять заговорил старик, – хорошо: пахнет весной, разгребают снег, все тает. Эх, вот не думал я, что старость придется тянуть в городе.

Анюта опять присела на ручку кресла.

– Дедушка! ведь и здесь все тает. Слышите, вода каплет из желобов. А вот посмотрите: вчера эта крыша была вся в снегу, а сегодня железо видно.

Старик покачал головой, он не хотел и слушать о городе.

– А помнишь, Анюточка, как у меня в «Новоселье» описана деревенская жизнь?

– Конечно, помню! А мы теперь одни, можно почитать.

Старик как-то беспокойно задвигался.

– Да что читать... ты ведь ничего не понимаешь... нет, не надо.

– А вы мне объясните. Дедушка, милый, хороший! ну, пожалуйста. Я достану, да?

– Да нет... я решил.

Но Анюта уже спрыгнула с кресла, выдвинула из-за комода тяжелый чемодан и, раскрыв его, стала перебирать лежавшие там бумаги. Стоя на коленях, низко наклонив русую головку, несмотря на свои одиннадцать лет, она казалась совсем маленькой.

– Смотри... не перепутай там.

– Что вы, дедушка! Я стихи достану?

– Ну хоть стихи... Синяя тетрадь с развода-

ми; сестра-покойница переписывала.

– Знаю, дедушка, знаю.

Анюта уже достала объемистую тетрадь в синей обертке. Отдав ее деду, она так поместилась на ручке кресла, чтоб читать через плечо. Дед нерешительно перелистывал страницы.

– Да ведь ты все уж знаешь.

– Нет, что вы! да мне и еще раз...

– Ну разве что-нибудь попроще.

Старик поднес тетрадь ближе к глазам. Эта рукопись была собранием его стихов, которые так никогда и не были напечатаны. Еще вчера он с горечью в сотый раз повторил самому себе обещание никогда не прикасаться к ней, а сегодня опять не устоял перед искушением...

Анюта слушала, притаив дыхание. Старик сначала читал свои шутливые произведения, эпиграммы, басни. Потом незаметно перешел к своим любимейшим стихам, к тем, которые он писал еще юношей, почти шестьдесят лет назад, в годы Пушкина, Баратынского, Дельвига, Крылова...

Читая, он увлекался; его голова с седыми

прядями волос гордо закинулась назад; сухие руки часто подымались для угловатого, но смелого и выразительного движения. Аня слушала, притаив дыхание, хотя все, что читал дед, уже знала наизусть.

*Когда она что говорит,
Гляжу я, глаз с ней не спуская.
Когда задумчиво молчит,
Я думаю: ты дева рая!
Взор, полный нег, ее блестит,
Как в небе звездочка ночная,
А звук из уст ее летит,
Как песня птички неба, рая...*

– Дедушка! это вы написали к бабушке?

Этот робкий вопрос прервал чтение. Старик повернулся и взглянул на личико своей юной слушательницы. Он тихо улыбнулся.

– Нет, Анюточка, это не к ней.

Анюте было уже стыдно за свой вопрос, она не знала, как загладить его.

– Ведь вы же любили бабушку?

Вместо ответа старик перевернул несколько листов.

*Я помню ту... люблю и эту.
Но той уж нет...*

– Не будем, Анюточка, говорить о старом... Да!., той уж нет... Но и этой нет... Ничего не осталось. Вот так и сижу я никому не нужный, сыновья кормят да попрекают. Без толку жизнь прожил. Говорила мне она частенько: чем бы бумагу изводить, ты в хозяйство заглянул бы; а то срам, не знаешь, твое это поле или чужое. А ведь кроткая была. Ах, боже мой господи! что за душа у нее была. Светлая, как свеча теплилась. Помилуй, господи, рабу твою... При ней все словно жизнь была, а теперь...

Дед говорил это, совсем забыв о своей слушательнице. Минуту подумав, он начал тихо, наизусть.

*Я слышу благовест... Народ идет
молиться,
А я лишь думаю, зачем еще живу!
За живо погребен, я не могу стремиться
К тому, что грезилось когда-то
наяву.
Душаотягчена тяжелыми цепями –
Нуждой, безволием житейской
суеты,*

*Как незаметно я терял год за го-
дами
И силы лучшие, и светлые мечты.
Простился я давно с надеждами
живыми,
Теперь прощаюсь с заветнейшей
из дум.
Я расстаюсь теперь с твореньями
своими
И усыпить хочу свой беспокойный
ум.*

Тетрадь выпала из рук старика и бессильно раскрылась на полу; его голова опустилась на грудь, и челюсть как-то жалко повисла; глаза были бессмысленны. То был одряхлевший, разбитый старик.

Анюта охватила его руками, на ее глазах были слезы, она покрывала лицо деда поцелуями.

– Дедушка! милый! что вы! ну что ж, что вас забыли. Это ничего. Вы мне рассказывали вот про Кальдерона. Вас еще вспомнят. Вы пишете такие хорошие стихи.

Дед медленно улыбнулся, приходя в себя.

– Полно, Анюточка, разве мне это горько? Стихи все равно не умрут, хотя бы их и никто

никогда не прочитал. Что написано, то навеки живо. Да и разве это такие хорошие стихи?

Он оживлялся, говоря.

– Вот у Пушкина, у Державина – вот это стихи. У Державина в кантате «Христос»:

*О Сый! которого пером,
Ни бrenным зрением, ни слухом,
Нише витийства языком
Не можно описать, а духом
И верой пламенной молить...*

Или это:

*Кто Ты? – и как изобразить
Твое величье и ничтожность,
Нетленье с тленьем согласить,
Слить с невозможностью воз-
можность?*

А! какие стихи! Мицкевич говорил, что «Христос» лучшее, что написано на славянских языках...

Стук с силой распахнувшейся двери прервал старика. Послышались голоса и шум снимаемых калош. Аня одним прыжком вернулась к столу, где она списывала прошение. Старик остался в кресле один, кивая го-

ловой и про себя договаривая стихи кантаты.

Две женщины вошли в комнату. Обе уже не молодые, лет за тридцать, с сухим и угрюмым выражением лица. То были две тетki Анюты, Леночка и Юлечка.

– Ну радуйтесь, папаша, – заговорила Юлечка злобным голосом, – ничего не удастся. Смотрецкий говорит, что мы пропустили срок и теперь уже нельзя подавать в Сенат.

– И все вы, – вмешалась Леночка. – Мы вам говорили, надо спешить, а вы то да то, посоветоваться надо, поговорить...

– Ну вот теперь все и провалилось, и нет ничего, – дополнила Юлечка.

Старик беспомощно смотрел на них.

– Да может быть, оно еще и не так, – слабо возразил он.

– Да не так! – взвизгнула Юлечка. – Как бы не так! совсем так! Вот это вы всегда. Да может быть, да не может быть. А дело верное. Нам должны были выдать двенадцать тысяч. А теперь...

– Да ведь там завещание было, – вымолвил старик.

– Завещание! Что вы нам колете глаза за-

вещанием, – затараторила Леночка. – Не умели своих дел устроить, оставили дочерей ни с чем! Помните, сын Политковского ко мне сватался, а узнав, что у вас ничего нет, он и не мог.

Старик безмолвно опустил голову.

– А ты что здесь делала? – накинулась Юлечка на Анюту. – Как! не готово! да ведь мы два часа ходили! Видно, болты била, слонов продавала.

Тут она заметила на полу тетрадь, и ее голос сразу перешел в крик.

– А вот что! Это все ваше дело! Вы ее разворачиваете. Загубили век маменьки! а потом наш! а теперь вот ее погубить хотите. Тут ваше бумагомаранье не нужно. Тут работать надо.

Старик возвысил голос.

– Юлия, я, кажется, отец тебе.

– А ну что ж, что отец, – вставила Леночка. – Разве вы о нас заботились? Замуж выдать нас не сумели. Без куска хлеба оставляете, кабы не братья...

Юлия тем временем схватила с полу тетрадь за отдельный листок и швырнула ее в

угол. Анята прыгнула со стула, чтобы убраться.

– Что? Куда? Так-то ты работаешь.

– Да я уже кончила, тетя, – мне всего две строчки оставалось.

– Кончила? Ну, живо, собирайся. Отнеси это Николаю и скажи, чтобы он непременно сегодня же зашел к Орневу, слышишь?

Анята юркнула в маленькую переднюю и поспешно натягивала свою шубку. Она так рада была ускользнуть от этого шума. Через минуту она была уже за дверью. Голоса теток, которые вступили было в спор между собой, стихли.

Анята почти не помнила деревни. Она уже шесть лет как живет в Москве. Она любила Москву. В этих грязных улицах, в этих неровных домах чудилась ей странная красота. Этими мечтами она не смела поделиться с дедушкой.

Они жили на (Остоженке), а ей надо было пройти через Кремль. На мосту через Александровский парк она остановилась. Она любила смотреть отсюда на Замоскворечье. Видны сначала спутанные ветви бульвара, потом

река и дальше целая панорама домов и церквей, исчезающая в тумане. Анюта любовалась долго.

Потом она прошла через Боровицкие ворота со страшными, окованными железом воротами, прошла вдоль решетки Кремля, любясь с нагорного берега другим, низким. Башенки Кремля, старые, с полинявшей краской еще казались легкими и воздушными; их итальянские верхушки придавали какое-то новое освещение всему кругу.

Вот наконец через Спасские ворота с их расписным потолком она вышла на Красную площадь. Обширное поле, обставленное зданиями в старорусском стиле, с одной стороны кремлевская стена, напротив здание новых рядов с пузатенькими колонками; налево Исторический музей, а направо стародревний храм Василия Блаженного. И в этой старинной, древней обстановке, в этом мире старой Москвы – тянулся длинный ряд электрических фонарей. Как большие бабочки, качающиеся высоко над землей, они медленно вспыхивали месячным светом.

В этом сочетании старины и новизны бы-

ло какое-то несказанное обаяние. Анюточка чувствовала, что вся горечь, переполнявшая ее детское сердце, куда-то уходила; даже образ дедушки бледнел и отступал; в душе было – мир и успокоение...

Бедный дедушка! Когда ты умрешь, твои дочери и сыновья разбросают дорогие тебе бумаги с твоими стихами; иные будут уничтожены, иные сохранит (Анюточка) и будет, может быть, хранить долгие годы; потом и они там затеряются, там пропадут, рассеются все... Исполнится ли твое чаянье, и правда ли, что стихи все равно не умрут, хотя бы никто никогда и (не) прочитал их?

20 сент<ября 18>9;

(первые наброски в феврале 97)

ГБЛ, ф. 386. 34. 14, л. 1–6. Беловой автограф с правкой Брюсова.

Рассказы Маши, с реки Мологи, под городом Устюжна

Ой, барышня, как в Ярославле хорошо, только одних жуликов и боишься, а у нас в деревне как худо: и дворовые, и домовые, и баечники, перебаечники. На дворе дворовой живет, а домовой в доме; дворовой с лица, как хозяин, а домовой шерстнатый. Дворового все видеть могут, кто после девяти на двор к лошадям выйдет. Так нельзя выходить, надо кашлять. А то вот отец раз вышел на двор и увидал, стоит дворовой и сено лошади подкладает. (Он лошадь нашу очень любит, все ей косу заплетает; косу длинную заплетет. А корову невзлюбил, языком ее всю против шерсти вылизал.) Домового реже видать можно, и в своем виде он редко показывается. А вот на печке спать одной страшно: придет ночью шерстнатый, давить будет. А баечника худо увидеть, он сердитый, не любит, чтобы ему мешали. Старуха поздно вечером парилась, после всех; вдруг в дверь стучат. Она думала, это ее невестка, и говорит: «Входи, входи, я тут одна моюсь». А никто не входит, и в

дверь все стучат. Он, значит, париться пришел, она ему мешает. Он уж под конец рассердился, стал дверь отворять и затворять: просунет голову и спрячет. Старуха увидела, что шерстнатый пришел, испугалась до смерти, кричит ему: «Батюшка, батюшка, погоди, я сейчас». Сбежала с полка и без памяти, как была, рубашки не надела, побежала на деревню, дорогой на сук наткнулась, глаз себе выколола, теперь кривая ходит. Вы, барышня, сами поезжайте, увидите: теперь кривая ходит. Спать в бане совсем худо. Если кто с крестом, того, конечно, баечник задавить не может, так только походит, потолкает, потому что он тоже спать в бане пришел, а они ему мешают.

Леший очень худой, это уж самый худой. Раз девушки коней пасли, ночью. И вздумали ночью слушать пойти. Кресты сняли и пошли за лес на опушку и стали всех нехороших призывать. Услыхали гул, все ближе, ближе. Им бы сказать: «Чур, пока полно», а они все не говорят, все больше, больше призывают. Потом видят, идет на них копна сена и в середине как кочерга, и вся огнем горит. Горит не

прямо, а все кружится, вьется. Они закричали: «Каравул, каравул!», побежали на деревню, прибежали на беседу, кричат, что за ними копна горящая гонится. А на беседе старуха-колдунья была. Она им говорит: «Плохо ваше дело, девицы, он непременно сюда придет, вы наденьте на головы горшки и сядьте. Он как вас ударит по горшку, вы и валитесь». Пришел нехороший в избу, стал по избе кружить. Нашел девушек, ударит по горшку, они и валятся, он и думает, что им голову разбил. Тем только и избавились.

А русалка у нас, барышня, каждую ночь на кладбище на камне сидит. Вот сторож церковный, когда ходит к утрени звонить, каждый раз ее видит. Волосы длинные-длинные и расчесывает большим гребнем. А еще у нас в реке камень есть, мы раньше туда купаться ходили, не знали, что там русалка сидеть любит. А вот наши мужики шли раз тихо, она их и не заметила. Подошли, а она сидит на камне и волосы расчесывает. Увидала их, глаза у нее большие, черные, – испуганная, и сразу нырнула в воду.

Ой, барышня, а как у нас в деревне нехоро-

шо делают. На святках (святки у нас длинные, у нас в деревне, у деревенских, от Николы до Рождества, а в городе, у городских, от Рождества до Крещения) слушать ходят. Вечером пойдут девицы на беседу. Потом которая-нибудь скажет: «Пойдемте слушать». Сейчас они кресты снимут, на гвоздь повесят. Такие там, в избах, где беседы, (гвозди) вбиты по стенам. Сядут, кто на кочергу, кто на ухват, кто на сковородник, и поедут на перекресток. Там сделают дорогу: три полосы по снегу проведут. Встанут и начнут всех нехороших призывать: «Черти, дьяволы, лешие, водяные, русалки, домовые, баечники, перебаечники – приходите и покажитесь нам». Тогда услышат звон колокольчика. Когда уж он близко будет, надо кричать: «Чур, пока полно». Рано нельзя кричать – ничего и не будет. А если поздно крикнуть – проедут и задавят. Если же вовремя скажут, проедут мимо, скоро-скоро, на хороших конях, нарядные кавалеры; все в белых высоких-высоких острых шапках, и с шапки на лицо и сзади длинные желтые кисти висят. Старые с длинными бородами, молодые без бороды. Проедут и прозвонят коло-

кольчиком каждой девице, сколько ей лет замуж не выходить.

А еще слушать ходят к бане, на колокольню руки протягивают, кто за руку схватит – суженый ли, нет ли. Худо, если шерстнатый за руку схватит.

А как у нас в деревне худо: колдунов сколько! Они, колдуны, молитвы говорят и берут на себя их, кто сколько, много берут. Если срок кто возьмет, то это у них ни за что считается, а берут несколько сот, несколько тысяч. И уж они колдунам покою не дают ни днем, ни ночью, все нужно, чтобы колдун с ними говорил. У нас, когда колдун приходит, его пивом угощают, боятся, чтобы он порчи не напустил. Раз колдун у нас ночевал, так я сама слышала, как он с ними говорил. Тятя ему говорит: «Да спи ты, дядя Михайло!» Он говорит: «Я сплю, я сплю». А потом: «Срубите елок, срубите елок». А они говорят часто-часто и плохо-непонятно, густым голосом и много раз одно и то же слово повторяют: «Сколько елок, сколько елок, сколько елок?» – «Десять елок, десять елок». Они скоро-скоро назад придут и опять спрашивают: «Мы срубили, мы сруби-

ли. Что нам делать? что нам делать? что нам делать?» – «Кирпичи делать». – «Сколько тысяч? сколько тысяч?» Он скажет, сколько тысяч. Они опять скоро вернутся: «Мы сделали, мы сделали». – «Хорошо ли сделали?» – «Хорошо сделали. Что нам делать? что нам делать?» Он и в церковь войдет, только успеет сказать: «Господи Иисусе Христе, пресвятая Богородица», а они опять его спрашивают, не дают в церкви стоять. А перед смертью их надо кому-нибудь отдать, а то они помереть не дадут, как ни мучайся.

Одной старухе некому было отдать, а уж очень тяжело было – помереть хотелось. Был тут только мальчик десяти лет. Она говорит ему: «Сними с меня». Он и согласился. Она велела ему крест снять и молитвы сказать. Она и отдала ему сорок. Они и стали его все спрашивать. Мать его забранила нехорошими словами. Его и унесли. Гадалка сказала, что она поймать не может. Поймать может только крестная мать и то в диком виде. Крестная мать пошла в поле жать и увидела, что он по полю зайчиком прыгает. Она за ним погналась и поймала и свой крест на него надела.

Тогда они его и отпустили.

А если колдун или колдунья венчаться будет, должен хоть на время их кому-нибудь сдать, клятву дать, что назад возьмет, а то не дадут в церкви слов сказать, каких надо.

Гадалки это совсем другие, чем колдуны. Им не надо нисколько на себя брать и никаких молитв говорить. Им нужно перед гаданьем только гадá[7] съесть, поймать гада черного, сварить, кусочек и съесть.

У одной девицы был жених, и она очень его любила. А он помер. Она о нем так плакала, что ее собственная мать хотела ее топором зарубить. Его положили в церкви. За полторы версты от деревни церковь была. А девица вечером надела тулуп церковного сторожа, пошла к дьякону, ее там не узнали, спросила ключ от церкви. Пошла в церковь и принесла мертвого оттуда на беседу, принесла и в угол посадила, и стала перед ним плясать. А он, конечно, сидит мертвый, ничего не понимает, голову закинул. А она плясала и говорит: «Теперь ты пляши». Тут уж, верно, враг в него вошел, он встал и стал плясать. Потом опять сел в угол, как мертвый. Она опять стала плясать.

Потом он опять плясал. Потом говорит: «Теперь неси меня назад». А она уж испугалась, говорит: «Иди сам». Он говорит: «Я не просил, чтобы ты меня приносила, ты сама за мной пришла, теперь неси назад, откуда принесла». А парни на беседе сидят в углу и говорят: «Ну что ж, неси, снесешь, потом назад на беседу приходи». Она хотела его нести, а он тут ее задавил.

Задумали девицы беседу устроить в усадьбе, в четырех верстах от деревни. Ходили они уж целую неделю на беседу, а кавалеры к ним не ходили. Им скучно одним было. Вот собрались они раз на беседу идти. А у одной девицы сестра маленькая, пять лет, просится: «Варюшка, возьми меня с собой на беседу». Она говорит: «Куда я тебя с собой возьму». А мать говорит: «Ничего, возьми». Она взяла привела ее и посадила на печку. И стали девицы плясать. Вдруг отворяется дверь – к ним кавалеры пришли. Эти кавалеры были нехорошие, а они не узнали. Говорят: «Что вы к нам давно не приходили, как с вами веселее будет». Стали они с ними плясать. Девицы-то не видят, они им не показываются, а девочка видит:

они как отвернутся, у них изо рта огонь. Девочка испугалась, зовет сестру: «Варюшка, я домой хочу». Она говорит: «Подожди, сейчас пойдем». Она говорит: «Нет, Варюшка, я сейчас хочу, я спать хочу». Она говорит: «Да подожди, сейчас пойдем, спать будешь». Она говорит: «Варюшка, да подойди сюда». Сестра подошла, она ей тихонько говорит: «Варюшка, я боюсь: у ваших кавалеров изо рта огонь». Девушка испугалась, говорит: «Я домой пойду». Ей говорят: «Да погоди, куда ты». Она говорит: «Нет, я только девочку домой снесу и назад вернусь». Она схватила девочку и всю дорогу домой бегом бежала. Прибежала, залезла на печку и говорит: «Мамушка, я на беседу больше не пойду: у наших кавалеров изо рта огонь». Наутро пошли на усадьбу, а все девицы, кто задавленная лежит, а кто к потолку повешенная.

У нас в деревне худо, все браниться любят, а браниться очень худо. Скажут кому: «Ну тебя к лешему» или черта помянут, он тогда и унесет, пойдет ли кто на овин или на поле, человек ли, конь ли, корова ли. Нужно идти к колдуну, он скажет, через сколько дней его

отдадут. Ходят, зовут, сколько дней ищут. Первый раз они ему дают голос подать и увидеть можно, а потом уж не видно, и голоса не слышать. Они его мучат, ездят на нем, за волосы таскают, в грязь кладут, в болото заводят и ничего не велят рассказывать, а то опять унесут. Колдун так и говорит: «Вы его ни о чем не спрашивайте, ему ничего сказать нельзя».

Записки декабриста Малинина

Предисловие редактора[8]

Рукопись «Записок Малинина» отыскана мною среди различных бумаг первой половины прошлого века, которые предложено мне было разобрать летом 1904 г., в одной из старинных усадеб в Воронежской губернии. Имение, вместе с усадьбой и всей ее обстановкой, переходило не раз из рук в руки, и установить определенно, каким путем эта рукопись оказалась в домашнем архиве, оказалось невозможным. По наведенным справкам выяснилось, что автор «Записок» Александр Никанорович Малинин скончался в конце 50-х годов (кажется, в 1859) в своем родовом имении, тоже Воронежской губернии. Семьи у

него не было, и все его имущество – надо полагать, в том числе и рукопись «Записок» – перешло к его родственникам по матери, К—им. К—ие, с которыми я снесся письменно, отказались от всяких литературных прав на это произведение, поставив только условием, чтобы их имя не было полностью названо в печати. После этого я счел себя вправе обнародовать эти «Записки».

Малинин не принадлежал к числу видных деятелей 14 декабря. Он был рядовым в числе декабристов. Но он сознательно разделял их убеждения и был довольно коротко знаком с вождями движения. В «Записках» его слишком много места отведено романтической интриге, заслоняющей факты общественной жизни, но это же придает рассказу непринужденность и красочность. Нового для истории декабристов «Записки» не дают почти ничего, но в них довольно ярко отразилась столичная жизнь начала прошлого века перед 14 декабря и довольно живо охарактеризованы некоторые значительные его участники. Можно смотреть на эти «Записки» скорее как на роман, чем как на исторический

документ, но нельзя, кажется мне, отказать им в некотором значении.

Судя по разным указаниям в тексте, «Записки» написаны в конце 40-х или начале 50-х годов. Николай Павлович везде называется Государем. О Крымской войне автор записок ничего не знает. С другой стороны, он уже знает о смерти кн. Одоевского (1839 г.) и В. Кюхельбекера (1846 г.). Рукопись «Записок», дошедшая до нас, писана рукой самого Малинина. В общем она сохранилась в полной исправности, и почерк автора, кроме двух-трех незначительных мест, не представляет никаких затруднений. Мы не позволили себе ничего изменять или сокращать в тексте «Записок», вынеся все свои объяснения в примечания. Изменено только старинное правописание на общепринятое.

В. Б.

Предисловие автора[9]

Когда ныне, в зимнем бездействии деревенском, озираю я прошлую мою жизнь,дается мне, что все силы, дарованные мне Природой, были изжиты мною в несколько месяцев, предшествовавших катастрофе 1825 года.

До того времени я еще не знал жизни и лишь готовился к ней, но страшные потрясения этих ста с небольшим дней обратили юношу в старца, молодость – в дряхлость, и все последующие годы были лишь медленным умиранием тела после смерти души. Никто не может повторить с большим нравом, как я, прекрасные стихи Е. А. Баратынского:

*Свой подвиг ты свершила прежде
тела,
Безумная душа![10]*

И в ожидании желанной, хотя и преждевременной кончины, я не нахожу себе более достойного дела, как возобновить в воспоминаниях и запечатлеть в записках сей эпизод моей жизни, когда страсти во мне кипели с неистовством, когда и мне суждено было стать участником, пусть малозначительным, событий исторических и сблизиться с людьми, коих чтить не перестану я до последнего дыхания. Одинокий на земле, не имею я детей, дабы завещать им свою исписанную тетрадь. Но верую, что прекрасная мечта благородных умов, за которыми сам тщился по-

следовать, станет некогда для родной страны действительностью, и с русского слова снято будет позорное ярмо цензорского прещения. Тогда мой рассказ, быть может, станет общим достоянием, и благосклонный читатель, пробежав снисходительно страницы, где, невольно увлекаясь, я слишком много говорю о себе самом, остановится не без благодарности на тех местах, где я пытаюсь со всем чистосердечием и со всей точностью воспроизвести образы несчастных страдальцев за возвышенные свои идеалы, завещанные ими всем истинным русским, и верно описать самое событие 14 декабря, горестное и безнадежное, но не прошедшее без следа, ибо память его поныне призывает стремиться к светлым целям, еще не достигнутым нашей родиной.

А. Малинин

ЗАПИСКИ

Глава I. Детство. Годы учения. Заграничное путешествие

О детстве своем и годах учения скажу кратко. Родился я в нашем родовом имении Двоекурове Воронежской губернии, в 1802 году. Отец мой служил во флоте и дослужился

токмо до чина лейтенанта, хотя самостоятельно водил транспорты в Америку, в Ситху, и, не поладив с местным начальством, вышел в отставку. После этого он уже не служил, поселился безвыездно в деревне, но сельским хозяйством занимался мало, более всего предаваясь чтению. К книгам у него была истинная страсть, и он проводил целые дни в своем кабинете, заваленном книгами. Ежемесячно нам пересылали почтой от московских книгопродавцев целые тюки новых изданий. К сожалению, вся эта великолепная библиотека сгорела во время бывшего у нас пожара 1820 года.

Я был в семье единственным ребенком, и потому неудивительно, что я рос мальчиком диким и необщительным. У нас в доме, не в пример прочим, не велось, чтобы я играл с детьми дворовых. Общество их почитали для меня неприличным, и я обречен был на горькое одиночество без сверстников. С детства привык я предаваться упорным мечтам моим. Я строил из древесной коры фрегаты, спускал их в пруд в нашем саду и устраивал между ними морские баталии, воображая се-

бя адмиралом, одерживающим великую победу Или водил свои корабли на ниточках в кругосветное плавание, мечтая, что прославлю себя своим путешествием более, чем Крузенштерн, и что историки будут славить мое имя Выучившись рано грамоте, я, по примеру отца, целые часы стал проводить за книжками, кои мне позволено было читать безо всякого разбора. Но любимым моим чтением были Плутарх и «Российский Феатр»[11], где особенно увлекали меня трагедии Сумарокова.

Матушку я помню мало, ибо она постоянно занята была хлопотами по хозяйству и по всему имению, оставленному всецело на ее попечение. Она скончалась, когда мне было едва десять лет, в черный год Наполеонова нашествия, получив известие о пожаре Москвы, где оставались ее близкие. По смерти матушки перешел я на попечение к тете Маше, ее двоюродной сестре, векоушке, издавна жившей в нашем доме, но до кончины матушки не игравшей в нем никакой роли, а после забравшей все хозяйство в руки. По отношению ко мне тетя Маша держалась тех же правил, что и матушка. Мне запрещалось

сближаться с дворовыми ребятами и считалось приличным, чтобы я или чинно гулял по парку или сидел за книгами. Затем ко мне взяли гувернера, одного из тех пленных французов, которые воспитали все наше поколение. От него узнал я о славной французской революции и великом Императоре, о Вольтере и Руссо, о жизни в Европе и о парижских театрах.

Знакомство с этим миром дало иное направление моим мыслям. Я перестал мечтать о морской карьере и стал воображать себя преобразователем Российской империи. Я мечтал о возможности у нас такой же революции, как во Франции, воображал себя демагогом, руководителем народных масс и главой временного правительства. Каждый вечер, ложась в постель, я подхватывал те сцены, на которых прервал мои мечты накануне сон, и развивал их далее. Я целыми часами, притворяясь спящим, развивал перед собой сцены мятежа, сочинял речи, которые я буду говорить, вел разговоры с другими вождями движения и сочинял во всех подробностях новые законы, основанные на началах

свободы и равенства для всех. Замечательно, что, предаваясь в мечтах этим благородным мыслям, я не делал попыток в жизни приблизиться к своим идеалам; по-прежнему сторонился мужиков, считал позволительным не только кричать на дворовых, когда они недостаточно быстро исполняли мою барскую волю, но – сознаюсь в том со стыдом – и поднимал на них руку.

Мне было 14 лет, когда отец решил определить меня в морской корпус. С этой целью он лично отвез меня в Петербург, после того как около 10 лет не выезжал из своей губернии. Я был принят по своим познаниям во 2-ой класс, где были ученики и много моложе меня. Дичок, робкий и неловкий, я попал в круг сорванцов-мальчишек, большей частью из столичных семей. Сознаюсь, что мне пришлось круто. Товарищи презирали меня, смеялись надо мной, били меня. Я не умел ни ловко отпарировать их насмешки, ни отвечать кулаками. В течение 2–3 лет я был невольным шутком всего класса. Можно представить, каково было мне выносить эти первые уроки жизни после мечтаний о блиста-

тельном поприще и всемирной славе! Но, конечно, унижения, коим я подвергался, насколько не уменьшили моей гордости. Чем большим унижениям подвергался я за день, тем более упоительные картины грядущего моего торжества рисовало мне воображение в часы перед сном.

Понемногу, однако, я свыкся с обстановкой. Нашлись у меня и товарищи, немногочисленные, правда, которых сроднила со мной любовь к литературе. Они ознакомили меня с новой русской поэзией, которой я не знал до сих пор совсем, с Жуковским, Батюшковым и, наконец, с Пушкиным. Увлеченный <ими>, я сам начал сочинять стихи, и с того времени мечты мои переменились. Я стал мечтать о славе великого поэта, подобно Вольтеру или лорду Байрону. Вместе с товарищами издавал я в корпусе рукописный журнал, под названием «Астрея», и тайком читал строго нам запрещенные «Сын Отечества»[12] и «...».

Курс своего корпуса кончил я в 1822 году, совершив при этом гардемаринном два плавания на корвете «Слава» к берегам Швеции и в

Пруссию. Съездив повидаться с отцом в Двоекурово, я остаток того года провел в Москве.

Я мечтал отказаться от морской службы и посвятить себя литературе. Между прочим, предлагал я свои стихи в разные тамошние журналы, но нигде не удалось устроить. В Петербурге отважно я явился к барону Дельвигу, готовившему выпуск «Северных цветов», и предложил ему довольно длинное «Послание к А. С. Пушкину». Барон Дельвиг встретил меня довольно приветливо, обласкал, но стихи печатать решительно отказался, заверив, что у них много материалов «первых» поэтов. Сознавая слова эти мне глубоко оскорбительными, тотчас же записался я на корабль «Сис<ой> Вел<икий>», шедший в Америку. Путешествие это благодаря разным авариям затянулось на две навигации. Только весной 1825 года возвратился я на Кронштадтский рейд. Взяв отпуск, я поехал опять в Двоекурово.

Отдельные события и некоторые истории, рассказать которые я задумал <на этом текст обрывается>

<1912>

ГБЛ, ф. 386, 34.21, л. 1–4. Черновой автограф.

Восстание машин

Из летописей ***-го века

I

Дорогой друг!

Уступаю твоей настойчивости и приступаю к описанию чудовищных событий, пережитых мною и похоронивших мое счастье. Ты прав: кто своими глазами видел подробности страшной катастрофы, небывалой в летописях мира, и остался после нее в здравом уме, обязан сохранить ее черты для историков будущего времени. Такие свидетельства современников будут драгоценным материалом для исследователей нашей эпохи и, быть может, помогут следующим поколениям уберечь себя от ужасов, выпавших на нашу долю. Поэтому, как ни тягостно мне вспоминать те дни, подобные кошмарному бреду, дни, отнявшие у меня всех, кого я любил, и превратившие меня самого в калеку, я все же буду писать, беспристрастно изображая все, что

сам наблюдал и об чем слышал от очевидцев.

Впрочем, если бы не твои убеждения и не соображения, что после трагической борьбы уцелело всего несколько человек, я никогда не принял бы на себя этой ответственной задачи, потому что во многом она мне не по силам. Я едва ли не менее всех других подготовлен к такому предприятию, так как могу рассказывать лишь о внешних явлениях: их смысл и причины недоступны моему пониманию. Все, что я могу обещать, это – воспроизводить, насколько сумею живо и ярко, фантастические происшествия, известные теперь под названием «Восстание машин», и быть правдивым, насколько то возможно для человека, который терял грань между явью и сном и уже не сознавал, что реальность и что призрак. Дать правильное толкование фактам, объяснить их – дело других, более осведомленных и более образованных.

Ты знаешь, что я – рядовой человек своего века, простой обыватель, который честно выполнял свои обязанности на общественной службе и считал, что свое свободное время он вправе посвящать отдыху и удовольствиям.

Возвращаясь к себе после трудовых часов, я был счастлив в кругу своей семьи, с женой, моей бедной Марией, с моими двумя детьми, твоим любимцем Андреем и его сестрой, малюткой Анной, и с их бабушкой, моей матерью, старушкой, которую все кругом называли «доброй Елизаветой». Чему я когда-то учился в школе, оставалось у меня в памяти, как что-то очень смутное, и позднее у меня не было ни времени, ни охоты освежать и пополнять свои довольно скудные познания. Пусть науками занимаются, думал я, люди, избравшие себе это поприще, а мы, очередные граждане, свершив свой долг, можем спокойно наслаждаться результатами их работ.

Подобно всем, кто живет в нашу эпоху, я пользовался всеми благами современных машин, но никогда не задумывался над вопросом, как и где они приводятся в движение или каково их устройство. Мне было достаточно, что машины обслуживают нужды мои и моих близких, а чем это достигается, мне было все равно. Мы нажимали определенные кнопки или поворачивали известные рукоятки и получали все, необходимое нам: огонь,

тепло, холод, горячую воду, пар, свет и тому подобное. Мы говорили по телефону и слушали в мегафон утреннюю газету или, вечером, какую-нибудь оперу; переговариваясь с друзьями, мы приводили в действие домашний телекинема и радовались, видя лица тех, с кем говорим, или в тот же аппарат любовались иногда балетом; мы подымались в свою квартиру на автоматическом лифте, вызывая его звонком, и так же подымались на крышу, чтобы подышать чистым воздухом... Вне дома я уверенно вспрыгивал в автобус, в вагон метрополитена и империаля или становился на площадку дирижабля; в экстренных случаях я пользовался мотоциклетами и аэропланами; в магазинах охотно передвигался по движущемуся тротуару, в ресторанах – автоматически получал заказанные порции, на службе – пользовался электрической пишущей машиной, электрическим счетчиком, электрическими комбинаторами и распределителями. Разумеется, нам случалось обращаться к помощи телеграфа, подвесных дорог, дальних телефонов и телескопов, бывать в электро-театрах и фоно-театрах, обращаться в автомати-

ческие лечебницы при незначительных заболеваниях и т. д. и т. д. Буквально на каждом шагу, чуть ли не каждую минуту мы обращались к содействию машин, но решительно не интересовались, чем оно обусловлено; только досадовали, когда получали извещение по административному телефону, что тот или другой аппарат временно не будет действовать.

Обращение с машинами, как все знают, просто до крайности. Даже мой маленький Андрей умел различать все кнопки и рукоятки и никогда не ошибался, если надо было прибавить тепла или света, вызвать газету или цирк, остановить лифт или предупредить проходящий мимо автобус. Мне кажется, что у современного человека выработался особый инстинкт в обращении с машинами. Как люди прошлых эпох, не отдавая себе в том отчета, соразмеряли, например, силу размаха, чтобы затворить дверь, мы соответственно нажимаем кнопку и заранее знаем, что дверь захлопнется без шума. Точно так же мы инстинктивно поворачиваем рычажки ровно настолько, чтобы пение оперы было слышно только в одной нашей комнате, или

переходим с движущегося тротуара на твердую землю, хотя непривычный человек непременно при этом упал бы. И нам кажется совершенно естественным, что такому-то слабому движению руки, такому-то чуть заметному наклону рукоятки соответствуют определенные следствия. Мы почти верим, что все это совершается «само собою», что это – в природе вещей, как прежде, поджигая спичкой костер, знали, что получают пламя.

Теперь поневоле я стал гораздо осведомленнее: обо многом пришлось подумать, обо многом расспросить, и, наконец, многое я узнал из газет, которые вот уже два месяца не устают передавать всему миру подробности катастрофы. Теперь я знаю (впрочем, знал это и раньше, учил в школе, только основательно позабыл), что вся земля разделена на 84 «машинных района», из которых каждый имеет свою самостоятельную, не зависящую от других, станцию. Каждый такой район делится на дистрикты: в нашем их было 16, и в каждом дистрикте также устроена центральная станция, причем все они связаны между собой. Наконец, дистрикт подразделяется на фе-

мы, с подстанциями в каждом, получающими энергию с центральной станции. В нашем

Октополе была расположена именно центральная станция дистрикта, обслуживавшая 146 фем. И если несчастье охватило сравнительно небольшое пространство, это объясняется исключительно тем, что большая часть коммуникаций с фемами была своевременно прервана. Поэтому восстание, начавшееся на центральной станции, потрясло только самый Октополь с окрестностями и около 30 окружных фем, тогда как могло захватить все полтора ста.

Можно ли говорить о плане восстания, его «подготовленности», его «сознательности», – я не знаю. Как ни нелепа подобная мысль, но после всего пережитого мною я более не знаю, что немыслимо и что возможно. Машины во время восстания действовали с такой систематичностью, с такой дьявольской логикой, что я готов, несмотря на все насмешки огромного большинства и суровые выговоры со стороны ученых, старающихся образумить безумных «фантастов», – готов допустить, что восстание было если не «обдуманно», то «под-

готовлено» заранее. Тогда план мятежников окажется совершенно ясен: они начинали восстание не на маленькой подстанции, где значение его оказалось бы сравнительно незначительным, но на центральной станции, чем надеялись привести в смятение целый дистрикт, а потом, может быть, по коммуникациям – и весь район, т. е. огромное пространство, равное одному из прежних государств. Было ли в замыслах мятежников в дальнейшем произвести революцию на всей земле, мне, разумеется, неизвестно.

Остается добавить, – к стыду моему, это я также узнал только теперь после пережитого, из газет и лекций, – что некоторые ученые давно предсказывали возможность такого мятежа. Оказывается, уже много столетий назад был подмечен параллелизм в явлениях жизни, так называемых – органической и неорганической. Например, рост кристалла аналогичен росту растения и животного; полумы кристаллов заполняются «силами природы» аналогично тому, что происходит при поранениях «живого» тела; жемчуга подвержены болезням; минералы также; металлы имеют

предел напряжения и выносливости; проводочные провода «устают», если их принуждают работать слишком много, и отказываются повиноваться; некоторые элементы (или вещества, не знаю, как должно сказать) намагничиваются самопроизвольно; электрические токи при значительной конденсации (опять извиняюсь за, вероятно, неправильный термин) тоже начинают действовать самопроизвольно; все шоферы и пилоты наблюдали, что моторы «капризничают» без всякой внешней причины и т. д. и т. д. Впрочем, все это я знаю столь смутно, что не мне писать об этом: я и так, должно быть, в этих немногих строках много напутал. Повторяю: пусть толкование фактам дают более сведущие; мое дело – рассказывать, что я видел.

К рассказу я и перехожу теперь и даже постараюсь совсем устранить из него всякие объяснения. Оставляю в стороне «почему?» и «зачем?» и буду отвечать лишь на вопрос: «что?» Да и то мои ответы будут касаться лишь весьма небольшого круга событий: предел моих наблюдений был ограничен Октополом, так как за все время катастрофы я не по-

кидал города. Я – маленький человек, пылин-ка в великом урагане, но ведь из миллиарда пылинок слагается весь ураган, и в моем ограниченном сознании все же умещался весь ужас, потрясший всю землю и даже, как говорят, всю вселенную.

II

Как началась катастрофа, я ничего не могу рассказать. Теперь известно, что первые грозные явления, так сказать, сигнал к общему восстанию, произошли на Центральной Станции. Но что там свершалось, какое чудовищное зрелище предстало людям, работавшим там, – не расскажет из них никто, потому что все они погибли до последнего. Теперь, по разным догадкам, стараются восстановить адски фантастическую сцену, разыгравшуюся в огромных подземных залах Станции: ливни внезапно вспыхнувших молний, целый потоп электрических разрядов, грохот, подобный миллиону громов, ударивших одновременно, сотни и тысячи людей, – инженеров, помощников, рядовых рабочих, – падающих обугленными, уничтоженными, разорванными в куски или кривляющимися в мучитель-

но-невероятной пляске... Но все это – лишь предположения, и, может быть, все происходило совсем не так. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю и ничего не знал в те минуты, скорее – мгновения, когда все это совершалось.

Примечательно, что нас, всю семью, разбудил, как всегда, утренний звонок, поставленный на 7.15. Следовательно, четверть восьмого утра аппараты еще действовали нормально, если только то не было дьявольской хитростью со стороны заговорщиков, не желавших, чтобы раньше времени узнали о начавшемся восстании. Мы зажгли свет, жена поставила на плитку автоматический кофейник, Андрей прибавил тепла в комнатах – и все наши распоряжения исполнялись аккуратно. Или катастрофа произошла несколько минут спустя, или в нашем доме действовал не ток со Станции, а местный аккумулятор, или, повторяю, мятежники коварно скрывали от жителей города истинное положение вещей... За стенами слышался обычный гул моторов и пропеллеров.

Я торопился, так как по пути на службу

предполагал навестить своего друга Стефана, который был болен. Не желая терять времени, я попросил бабушку (так все в семье называли мою мать) сказать Стефану по телефону, что буду у него. Старушка взяла трубку городского телефона, поднесла ее к уху, нажала соответствующие цифры на таблице и, наконец, соединительную кнопку... И вдруг произошло нечто, чего мы сразу не могли понять. Бабушка трагически вздрогнула, вся вытянулась, подпрыгнула в кресле и рухнула наземь, выронив телефонную трубку. Мы бросились к упавшей. Она была мертва; это было несомненно по ее искаженному лицу и по отсутствию дыхания, а ухо, которое она держала у телефона, было прожжено, словно ударом молнии невероятной силы.

Мы глядели друг на друга и с отчаяньем и с удивлением. Конечно, сделаны были попытки привести старушку в чувство, но я сразу увидел, что это бесплодно. «Надо вызвать врача», – сказал я и нагнулся, чтобы поднять телефонную трубку. Но жена бросилась ко мне одним прыжком, схватила меня за руку и закричала решительно: «Нет! Нет! Не трогай те-

лефона! Ты видишь: в нем что-то испортилось! Тебя убьет, как бабушку!» Каким-то инстинктом Мария угадала правду, почти насильно, – так как я возражал и сопротивлялся, – не допустила меня до телефона и тем спасла мне жизнь – увы! напрасно! Много лучше для меня было бы погибнуть тогда, в самом начале ужасов, такой же мгновенной смертью, как моя бедная мать!

После недолгого спора мы решили было, что я немедленно поднимусь в 14-й этаж, где, как мы знали, жил молодой врач. Уже я направился к двери, как внезапно погас во всей квартире свет. Было уже достаточно светло на улице, но все же это явление нас поразило. И опять Мария, с удивительной проницательностью, сразу определила совершающееся. «Что-то испортилось на Станции, – сказала она, – будь осторожен!» Потом она повелительно приказала Андрею не прикасаться более ни к каким кнопкам и ручкам: чудесная прозорливость женщины, не спасшая, однако, ее самое! А я между тем уже был на площадке. К моему изумлению, там толпилось человек двадцать, встревоженных, взволно-

ванных. Оказалось, что почти в каждой квартире случилось какое-нибудь несчастье: некоторые были убиты, как бабушка, при попытке говорить по телефону, другие получили страшный удар при прикосновении к рычагу телекинемы, третьих обварило вырвавшимся паром, одному заморозило руку из холодильника и т. д. Было ясно, что правильная работа машин нарушилась и что все провода таили теперь опасность.

Обменявшись бессвязными объяснениями, мы решили вызвать лифт. Долго никто не решался дать нужный сигнал. Наконец, какой-то пожилой человек отважился нажать кнопку. Мы смотрели на него со страхом, но он остался невредим. Однако каретка не появлялась: ток не действовал. После некоторого колебания я побежал вверх по лестнице, так как мне надо было пройти только 5 этажей. На всех площадках показывались испуганные лица; меня непрерывно спрашивали, что случилось. Не отвечая, я добежал до квартиры врача и, уже не смея звонить, постучал в дверь кулаком. Доктор открыл мне сам, изумленный дикими стуками, так как я коло-

тил, как сумасшедший. Он еще ничего не знал и выслушал мои сбивчивые объяснения не без сомневающейся улыбки; однако согласился тотчас идти к нам, чтобы оказать помощь бабушке, при этом успокаивал меня, что она, вероятно, лишь в обмороке.

Перед моим приходом доктор был занят какой-то работой в своей маленькой лаборатории, куда я прошел за ним из передней. Теперь, собираясь идти со мной, он хотел, должно быть, что-то герметически закрыть или, наоборот, что-то привести в действие. В точности я не знаю, что именно собирался сделать доктор, только, забыв о моих предостережениях или не обратив на них внимания, он небрежно протянул руку и взялся за какой-то рычажок, чтобы повернуть его. Очевидно, к рабочему столу доктора были приспособлены особые провода, только вдруг, на моих глазах, от рычажка отделилась синеватая искра величиною с добрую веревку и послышался роковой треск – род маленького грома. И доктор рухнул передо мною на ковер, пораженный насмерть этой домашней молнией... Я замер в *<на этом текст обрывается>*.

<1908>

ГБЛ, ф. 386. 34. 13, л. 20–24. Автограф.

Мятеж машин

Фантастический рассказ [13]

1

Чтобы понять ход событий, которые будут рассказаны, надобно ясно представить себе всю организацию жизни в эту эпоху.

Усиленное развитие техники началось в XIX веке. До этого времени человечество в течение двух тысячелетий в области техники лишь восстанавливало открытия древних. Такие строения, как Пантеон Агриппы, колосс Родосский, великая римская клоака, не говоря о больших пирамидах, даже заставляют думать, что древние народы обладали более могущественными техническими средствами, нежели Европа Средневековья, Возрождения, Реформации и «века философов». На то же намекают смутные известия о познаниях древних египтян в области электрофизики и о паровых машинах, конструированных жрецами

Мемфиса и Фив. Исключение составляло лишь военное искусство: введение огнестрельного оружия было значительным шагом (вперёд или назад, не будем спорить), и, конечно, ни в какое сравнение с порохом не мог идти «греческий огонь» византийцев. Чтобы быть справедливыми, помянем ещё книгопечатание, впрочем, известное задолго до того китайцам, да и небезызвестное римлянам, печатавшим таблицы с гравированных досок, и изобретение Диаса, компас, хотя оно не без натяжки подходит под понятие «техники», и хотя свойства магнита были достаточно известны древним.

В XIX веке всё это сразу изменилось. Людей обуяло какое-то безумие в непременном желании удесятерить и утысячерить свои силы через посредство машин. Подчинение стихий – такова была первая задача, поставленная себе человеком. Подмена физического труда человека, животных и, так сказать, непосредственного труда природы работой особых аппаратов – вторая. Наконец, третья – сокращение пространства. Вторая задача могла быть решена лишь после разрешения пер-

вой; третья – лишь тогда, когда были удачно решены обе первые. Но каждое новое изобретение способствовало совершенствованию более ранних; одно цеплялось за другое, поддерживало и поднимало его; получался непрерывный ряд успехов техники, настолько расширивших её области и изоциривших человеческую сообразительность, что, наконец, быть изобретателем стало самым обычным явлением. Каждый неглупый человек, получившись немного, мог сделать изобретение, которое две тысячи лет назад обессмертило бы имя нового Архимеда и Гиерона.

В деле победы над стихиями особенно выдавались две: подчинение пара и овладение силой электричества. Древние знали обе эти силы, но древним не приходило в голову, какие применения можно сделать из этой мощи. Отчасти, может быть, древние меньше нуждались в работе стихий, довольствуясь трудом рабов, тоже своего рода стихией древнего мира. Век XIX заставил пар возить себя и работать за себя. Поплыли первые «пироскафы», бороздя моря; стальные иглы рельс пронзили все страны от океана до океана; за-

стучали всякого рода машины, исполняя в несколько минут то, на что когда-то человек был должен тратить часы и дни. Ещё могущественней оказалось электричество. Во многом оно заменило пар, работая ещё стремительнее, ещё совершенственнее его, но в то же время, оно разлило свой волшебный свет по городам и дорогам; стало передавать мысли через сотни и тысячи вёрст с молниеносной быстротой, сначала по телеграфной проволоке, а потом и без всякой проволоки, и голос из одного города в другой по телефонным проводам; оно сумело запечатлеть навсегда мгновение, и то, что было, стало вечным, зажённое в валиках фонографа или пластинах граммофона и в фильмах синематографа; оно осуществило тысячи чудес, которые только снились прежним векам. Рядом развивались разные технические приспособления: работали машины швейные, ткацкие, прядильные, чесальные и другие; машины заменили человека в поле: пахали, сеяли, косили, жали, молотили, мололи за него; машины заменили человека на заводах, и прежние рабочие, которые владели то иглой, то молотом,

то ножом, то мехами, стали только присматривать за стальными чудовищами; машины заменили человека дома, писали за него и готовили за него кушанья, стирали за него и делали за него вычисления. Наконец, были приспособлены те приборы, который получили название «двигателей внутреннего сгорания», и вот изобрели автомобили, поплыли турбинные корабли, нырнули под воду субмарины, а в небе зареяли дирижабли и аэропланы...

Так обстояло дело к концу XIX века и началу XX века. Пар, электричество и «двигатели внутреннего сгорания» позволили человечеству победить пространство. Не говоря об том, что люди проникли на оба полюса и в пустыни всех материков, не говоря об том, что люди научились летать, соперничая с птицами, – расстояния между отдельными пунктами земного шара сократились на сотни раз. Что прежде было путешествием многих недель, стало переездом одних суток; места, куда ещё недавно могли проникнуть лишь отважнейшие из пионеров, сделались доступны для скучающих туристов; вести дня

В несколько минут становились достоянием всех читающих газеты; вместо письма, которое когда-то должен был нести раб, прячась от разбойников на больших дорогах, мои мысли стали передаваться телеграфом и телефоном.

Наконец, во владение человечества вошла новая могущественная энергия: радий. Это сила, которая была неизвестна во все былые времена. Прежние люди и дне тысячи лет назад лечились грязью из радиоактивных источников; кусок радия лежал в чудесных амулетах, которыми колдуны исцеляли больных. Но XX век извлёк из радия тысячи других применений. Человек заставил радий не только лечить себя, но светить себе и работать на себя, как пар и электричество. Возникли машины, основанные на свойствах радиоактивности, машины, страшные своей всеобъемлющей силой и страшные тем, что они были губительны для неосторожных. В этих таинственных изобретениях была и великая польза людям и смерть для незнающих.

Последним шагом того же века было от-

крытие метода, получившего название «мутационного», то есть способа обращать одну энергию в другую без посредства сложных приборов. И прежде для выработки, например, электрической энергии пользовались силой пара. Мутационный метод дал возможность любую энергию обратить в ту, которая в данном случае наиболее применима. Особенную важность имело это для использования энергии, заключённой в радиоактивных веществах, которая сама по себе была мало пригодна для целей практических. Таким образом человечество получило неиссякаемый запас электрической энергии, притом получаемой с таким притоком и быстротой, что производство её превысило потребности всего земного шара. Явилась возможность применить электрическую силу ко всем сторонам жизни, ко всем надобностям научным, общественным и частным, во всех, без исключения, местностях Земли. Всюду и для всех было всегда наготове, к услугам электричество. Его стало столь же много, как воздуха, может быть, больше; ежедневно, ежеминутно электрическая энергия вырабатывалась в таком

количестве, что всякий желающий мог расходувать её по своему усмотрению, по своему капризу, хотя бы для забавы, и тем не менее оставался ещё огромный избыток, который и скапливался в неприкосновенном запасе, способном, благодаря тому же мутационному методу, сохраняться долгие столетия с ничтожной потерей – 0,0001 % в год.

Таково было положение к началу той эпохи, когда началось столь знаменитое «техническое объединение» человечества и «техническая организация земного шара».

2

Население Земли исчислялось в то время – берём везде круглые цифры – в 5 миллиардов людей. Четвёртая часть этого количества – даже немного больше четвертой части – жила в главных городах, или так называемых столицах мира, которых насчитывалось 122, так что в каждой было средним числом 10 миллионов жителей. Такое же количество, то есть примерно около одной четвертой всего населения, жило в меньших городах, которых было много тысяч, причём города с населением в полмиллиона принадлежали к числу весь-

ма обычных. Вторая половина человечества, 2½ миллиарда, были, по старинной терминологии, сельские жители, хотя это название совершенно утратило свой прежний смысл. Деревень или сёл в прежнем смысле слова на Земле не было; были или маленькие городки со специальным названием: города-фабрики, города-университеты, города-библиотеки, города-лечебницы и тому подобные, или отдельные группы домов и одиночные строения, где жили люди, связанные с землёй: то есть или занятые обработкой её для земледелия и огородничества, для лесоводства и скотоводства и тому подобного, или имеющие какое-либо административное назначение, или, наконец, приезжие, поселившиеся вне города для собственного удовольствия. Усовершенствование средств сообщения делало почти безразличным расстояние жилья от любого города: жители в несколько минут могли достичь на своём аэроплане до ближайшей станции подземной дороги и оттуда в «автоматических сигарах» в полчаса до ближайшей «столицы» или в несколько часов до любого другого пункта. Если же к числу «го-

родских» жителей принадлежали и жители «малых» специальных городов, то очевидно, что почти всё население Земли перебежало в города: вне их, действительно среди полей, гор или лесов, жителей не было и 400–450 миллионов, т. е. менее 10 % всего населения.

Городская жизнь, о которой только и стоит говорить по отношению к этой эпохе, благодаря тому скоплению электрической и иной энергии, о которой мы говорили выше, – везде была единообразна. Физический труд, даже всякое телесное усилие почти вовсе исчезли из жизни человека, оставаясь только в области игр, гимнастики и спорта. Люди ещё забавлялись полётами на аэропланах, поездками на электрических автомобилях, плаванием на моторных субмаринах, ещё играли в мяч, упражнялись в бегании, плавании, прыжках; были чудачки, которые ещё ездили верхом или на велосипедах, поддерживали традиции бокса и состязания на рапирах, но всё это относилось к той же области, как игра в карты или на бильярде, как шахматы и т. п. Потребности в физическом труде не бы-

ло в такой мере, что врачи согласно констатировали начинающуюся у людей атрофию мышц, умения быстро ходить и бегать, способности владеть руками.

С первого часа после пробуждения человек вступал во власть машины. О часе пробуждения возвещал автоматический будильник; процесс одевания и утренней ванны был облегчен разными приборами до *minimum*'а. Выйдя из своей квартиры, человек, нажав пуговку, вызывал к себе лифт своего многоэтажного дома и спускался прямо до глубин «метрополитена» или «империала», смотря по тому, куда надо было ехать. Там проходил в вагон подземной дороги, опять-таки обслуживаемой машинами и приборами без всякого участия людей, и достигал нужной станции; с неё по другому лифту поднимался до места своей дневной работы. Так как на всех поприщах работа исполнялась машинами, то человеческий труд состоял почти исключительно в вычислениях. Всё производство совершалось с помощью машин; вся торговля велась автоматически; товары перевозились из страны в страну и через океаны... *(На этом*

текст обрывается.)

1915 г.

ГБЛ ф. 386. 34. 13. л. 1–6. Черновой автограф.

Первая междупланетная экспедиция

От издателей

Получив право опубликовать раньше появления в печати оригинала наиболее замечательные и наиболее захватывающие по содержанию страницы из дневника одного из участников Первой Междупланетной Экспедиции, товарища Уильяма Джемса Морли, мы сочли излишним предпосылать им подробное предисловие. Экспедиция возбудила такой напряженный интерес во всем цивилизованном мире, ей было посвящено так много отдельных брошюр и статей в журналах и газетах на всех языках, что ее организация и все, что было до сих пор оглашено о ее ходе и трагическом завершении, конечно, хорошо знакомо каждому читателю. Авторы предисловия, по нашему предложению, решили ограничиться лишь самым кратким изложением основных фактов, относящихся к отваж-

ному, еще небывалому в летописях человечества предприятию, останавливаясь несколько подробнее на некоторых мелочах, которые могли ускользнуть от внимания иного читателя, но которые, безусловно, необходимы для понимания самого текста публикуемого дневника. Точно так же в примечаниях к дневнику, составление которых любезно приняли на себя те же ученые, перу которых принадлежит Предисловие, даются почти исключительно те пояснения, которые пришлось извлекать из других материалов, собранных той же экспедицией и, следовательно, еще не ставших общим достоянием науки; что касается до общих сведений, — разумеется, тоже необходимых для уяснения текста, — то они за последнее время столь часто излагались в печати в связи с обсуждением Экспедиции, что, несомненно, тоже стали общеизвестными даже для лиц, никогда прежде астрономией не интересовавшихся.

Со своей стороны, как издатели, мы имеем еще добавить несколько слов относительно ценности публикуемого нами документа.

Было официально объявлено, что все мате-

риалы, которые удалось извлечь из обломков междупланетного корабля, поступили в распоряжение особой комиссии, составленной из ученых астрономов, физиков, биологов, зоологов, ботаников и минералогов, при A.S.A.S. (Американском Государственном Астрономическом Обществе). Материалы эти состоят частью из коллекции, собранной участниками Экспедиции, частью из таблиц с их наблюдениями, фотографических снимков и т. п., частью, наконец, из трех дневников этих трех пионеров, которые первые из людей вступили на почву другой планеты. Дневник организатора Экспедиции, тов. Пэриса, обрывается на дне прибытия междупланетного корабля на Марс – по причинам, которые будут ясны для читателей из дальнейшего; дневник незабвенного товарища О'Рука, потерю которого приходится оплакивать не только как смелого исследователя, но и как великого ученого, обнимает время, по причинам, также излагаемым дальше, всего на два дня большее; кроме того, оба эти дневника очень кратки. Напротив, дневник товарища Морли содержит описание всего хода Экспедиции,

начиная со дня отбытия ее с Земли до того дня, когда междупланетный корабль вновь должен был опуститься на ее почву; вместе с тем дневник этот изложен с самой широкой обстоятельностью, переходя во многих частях как бы в художественное повествование.

Точнее говоря, то, что мы называем «дневником» товарища Морли, не является собранием ежедневных, сделанных наспех записей: это, скорее, мемуары, написанные уже после того, как самые изображаемые события отошли от автора на некоторое расстояние. Так как параллельно сохранилась и записная книжка тов. Морли, в которую он, по примеру своих сотоварищей, вкратце заносил каждый день свои впечатления, то надо предположить, что так называемый его «дневник» был им составлен в дни обратного перелета от Марса до Земли. Нам представляются факты в таком порядке: во время перелета от Земли до Марса Морли, как и два других члена Экспедиции, Пэрис и О'Рук, вел только краткие записи пережитого им за день; в дни своего пребывания на Марсе он, хотя менее систематично, продолжал делать то же; на обратном

же пути, внося изредка краткие сообщения в ту же записную книжку, он использовал досуги шестидесятидневного перелета для того, чтобы дать первую обработку своих беглых заметок в форме связного рассказа. Это происхождение «дневника» ни в коем случае не лишает его всей прелести непосредственных наблюдений, так как писался он в те дни, когда они должны были оставаться еще крайне острыми и живыми, притом почти при полном отсутствии новых впечатлений.

Известно, что тов. Морли был единственным членом Экспедиции, которому суждено было предпринять обратный путь на Землю, после того как все трое исследователей сравнительно благополучно вступили на негостеприимную почву планеты Марс. Но трагический конец ждал Морли, так сказать, у самой пристани. Спуск на Землю первого междупланетного корабля оказался неудачным; вместо того чтобы, медленно опускаясь, вонзиться в почву своими острыми «якорями», — как то неизменно удавалось при пробных спусках и как то было достигнуто при спуске на Марсе, — корабль ударился с еще довольно значи-

тельной скоростью о Землю своим боком, что скорее походило на падение, чем на спуск. Оно было так сильно, что корабль дважды подскочил, снова ударяясь о землю, как резиновый мяч. Вдобавок от сотрясения внутри корабля произошел частичный взрыв в силу смешения разных находившихся там химических элементов. В результате весь снаряд оказался страшно изуродованным, а все содержимое каюты частью уничтоженным, частью разбитым вдребезги. Тело несчастного тов. Морли представляло обугленную массу мяса и костей.

Все, что уцелело от этой катастрофы, было с величайшей тщательностью рассортировано, причем удалось отделить от обломков разбитых инструментов и утвари скудные остатки коллекций, минералогической и ботанической, собранных исследователями на Марсе; несмотря на жалкий вид этих остатков, надеются, что они дадут драгоценный материал для выводов о строении почвы Марса и о растительности на нем. В более счастливом положении оказались рукописи исследователей, так как шкаф, в котором они лежали,

был в числе уцелевших от взрыва; эти рукописи – содержание которых указано выше – и послужат основными документами, на основании которых будет возможно восстановить всю картину экспедиции и использовать наблюдения и открытия, сделанные смелыми исследователями.

Полностью все эти рукописи будут опубликованы в монументальном издании A.S.A.S., которое имеет появиться под названием: «Материалы, касающиеся первой экспедиции на планету Марс», и над редактированием которого ныне работает вышеуказанная комиссия. В настоящем издании мы публикуем часть «дневника» тов. Морли, именно те страницы, которые описывают десять дней его пребывания на планете Марс. То, что непосредственно предшествовало этим десяти дням и следовало за ними, то есть путь от Земли до Марса и обратно от Марса до Земли, вкратце изложено, также на основании того же дневника, в Предисловии редакторов.

Издатели

Предисловие редакторов

Известно, что принципиально проблема

междупланетных сообщений была решена еще в начале XX века, причем первые междупланетные корабли, сконструированные в то время, получили название «ракетных», по характеру тех двигателей, которыми они были снабжены. Однако на твердую почву конструкция подобных кораблей стала лишь с того времени, когда удалось найти практическое применение внутриатомной энергии и использовать ее в качестве моторной силы. Всем, вероятно, памятно, что после ряда неудачных и частью трагических опытов, был, наконец, найден тип этеронефов[14], обеспечивавших сравнительную безопасность полета, и что несколько смелых исследователей, имена которых записаны в золотую книгу науки, совершили ряд удачных экспедиций за пределы земной атмосферы, причем некоторые из них приближались к Луне на расстояние 120 ее радиусов.

Однако существовало одно затруднение, долгое время казавшееся неодолимым, которое не позволяло человеку предпринять путешествие в более отдаленные области пространства. Дело в том, что при всей скорости,

какую можно было развить, пользуясь внутриатомной энергией, огромность расстояний между небесными телами все же требовала значительного времени для перелета от Земли хотя бы до ближайшей к ней планеты – времени, исчисляемого десятками дней. Между тем этеронавтам приходилось уносить с Земли все, необходимое им в пути, и прежде всего кислород для дыхания и воду для питья. Трудность и состояла в том, чтобы сконструировать снаряд, подъемная сила которого была бы такова, чтобы он мог вместить в себе запасы, достаточные для поддержания жизни путешественников в течение всего их пути, как вперед, так и обратно, так как было мало надежды на возможность пополнить их на другой планете.

Трудность эта была разрешена только новыми техническими открытиями в области химии, когда найден был способ обращать все газы в твердое состояние, – сохранять их в форме плиток, по внешности напоминающих металлические. Рядом с этим стоит изобретение простых приборов, дающих возможность без труда обращать эти конденсированные

газы в продукты, необходимые для жизни человека, т. е. в воздух для дыхания и в воду для питья. Эти два важных открытия нашего времени сделали, наконец, вопрос о межпланетных сообщениях практически разрешимым[15]

<Из «Дневника» Морли>[16]

...минуты были ужасны. Уиль один стоял у мотора, опустив обе руки на рычаги; по внешности он казался спокойным, но лицо его было торжественно бледно. Нам, Крафту и мне, оставалось бездействовать, и то было мучительней всего. В напряженном волнении хотелось что-то схватить, усилием рук удерживать падающий этеронаф, что-то делать, к чему-то приложить свою силу, но приходилось неподвижно стоять.

Я смотрел на циферблат. Стрелка показывала более двух километров в секунду. То был не спуск, то было падение, чудовищное падение с высоты 500 000 метров. Еще несколько минут, «Пироент»[17] со скоростью пушечного ядра ударится о поверхность планеты, разлетится в осколки от страшного толчка и от взрыва заключенных в нем газов, обратит

все, находящееся в нем, нас в том числе, в горсть пепла! Погибнуть у самой пристани, погибнуть, когда мы уже достигли пределов того мира, где еще никогда не был человек, погибнуть, почти ступая ногой на почву того Марса, о котором ряд веков мечтали и гадали поэты и мыслители! Погибнуть – и тем обратить в ничто все наши усилия, всю нашу борьбу со стихиями и законами природы, весь подвиг нашего двадцатидневного перелета! Погибнуть!

Все это и многое, слишком многое другое успел я думать, пока в стремительном падении мы пролетели десять, двадцать, сто километров... Такого отчаянья я не испытывал еще никогда; мертвящая тоска уничтожала самый страх. Я взглянул в нижнее окно: уже диск планеты заполнял все пространство; уже то было не небесное тело, к которому устремлялся междупланетный корабль, но земля, земля, расстилающаяся под нами! Об эту землю сейчас мы будем разбиты вдребезги. Но почему? Отчего мотор не действует так же властно, как на пробных полетах? Не сошел ли с ума Уиль? Не кинуться ли на него,

вырвать у него рычаги, спасти себя и все наше дело?

Вновь я взглянул на циферблат. Стрелка показывала скорость в один километр в секунду. Значит, падение замедлилось? И на моих глазах стрелка откачнулась еще: пятьсот метров в секунду! Сердце успело простучать не более десяти раз, цифра была 300. Потом я видел 280, 250, 200, 150... Я посмотрел на Крафта; тот стоял не шевелясь, но его пальцы были судорожно зацеплены за ручку двери, а глаза недвижно уставлены на тот же циферблат. *Пятьдесят метров[18] в секунду*. Нет! уже только тридцать... двадцать пять... восемнадцать... десять... Успеем ли? Еще взгляд в нижнее окно, – там серая масса какой-то равнины; опять на стрелку, – полтора километра – скорость хорошего автомобиля[19].

Уиль повелительно крикнул:

– Лечь!

Безотчетно я повиновался. Я бросился на свою койку и привычным жестом застегнул ремни, привязывающие меня к стене. Еще я видел, как то же сделал Крафт. Потом мелькнул жест Уиля, поворачивающего централь-

ный рычаг. В тот же миг Уиль закрыл электричество, и было слышно, как в темноте он сам прыгнул к своей койке. Может быть, после того прошла еще секунда или две, но мое ощущение было таково, что мгновенно затем последовал удар. «Пироент» соприкоснулся с почвой Марса и вонзился в нее всеми своими тремя якорями.

VII

От сотрясения я потерял сознание, но, по-видимому, лишь на самое краткое время. Очнувшись, я сразу сознал положение. Сделав попытку двинуться, я убедился, что не получил никаких серьезных повреждений; было ушиблено бедро, но сначала боли не чувствовалось. Тотчас же я встал на ноги; пол под ногами был совершенно ровным. Ощупью я ориентировался в темноте, нашел уступ мотора, дотянулся до выключателя, зажег электричество. О, радость! Оно действовало, и все вокруг наполнилось светом.

Наша каюта имела почти обычный вид. Все было на своих местах: моторный стол, шкапы, которые даже не раскрылись, наши койки, даже инструменты, вделанные в сте-

ны; только барометр был выбит из своего гнезда и валялся разбитым. Но оба мои товарища, подобно мне, были сброшены на пол, так как ремни оборвались; Уиль лежал около самой койки, Крафт – по самой середине каюты. Ни тот, ни другой не двигался.

Разумеется, следовало раньше всего оказать помощь товарищам, убедиться, живы ли они. Но неодолимое любопытство было сильнее. Окна были закрыты; Уиль успел захлопнуть и нижнее. Я прямо шагнул к окну у мотора и нервно нажал кнопку; механизм тоже оказался в исправности, ставня соскользнула и прямо передо мной открылось то, чего еще никогда не видел человеческий глаз. Первый из людей я взглянул на пейзаж Марса.

Казалось, были поздние сумерки, хотя солнце, стоя сравнительно высоко над горизонтом, прямо било в стекло лучами – солнце ослепительное, более яркое, чем на Земле, но в форме маленького кружка, меньшего, чем видимый с Земли диск Луны. А под этим солнцем простиралась даль – не скажу степь, не скажу пустыня, но что-то однообразно-ровное и одноцветно-тусклое, не то бурого, не то

коричневатого цвета. Никакой растительности, ни признака реки или ручья, ни малейшей возвышенности, сколько-нибудь значительной, ни гор, ни холмов, лишь кое-где ничтожные изломы поверхности, словно заглубленные морщины на старческой коже. И самая почва слабо, но отражавшая лучи маленького солнца, напоминала то слой лавы, то кованность металла, то какой-то потемнелый лед. И над всем этим тусклое небо, голубое, но не бледное, а с чернотой, как будто здесь художник подмешал в жидкую синь слабый раствор туши. Все – жутко, не величественно, а уныло, не поразительно новизной, но тоскливо в своей монотонной безжизненности.

– Товарищ Морли!

Вероятно, я смотрел на пейзаж не более двух секунд. Но Уиль уже стоял на ногах и звал меня, звал строго, тоном выговора подчиненному.

– Товарищ Морли! Прежде всего мы должны оказать помощь Крафту. Опять безмолвно я повиновался.

Мы подняли Крафта, все еще бесчувственного, положили на койку.

Наскоро я освидетельствовал его. Легко было обнаружить вывих левого запястья, так как при падении у него подвернулась рука, и разрыв кожных покровов головы за левым ухом от удара об угол шкафа. Сердце однако билось равномерно, не было признаков опасного сотрясения.

Молча я стал выполнять свое дело врача. Уиль не помогал мне: он осматривал мотор, приборы, хранилища газов. Через несколько минут Крафт пришел в себя. Осторожно я объяснил ему его состояние. Все без содействия Уиля, я раздел больного, вправил и забинтовал ему руку, промыл его рану и наложил повязку на голову. Несколько капель евбиоза закончили мою работу. Крафт, как то было в его характере, перенес болезненную операцию без всякой жалобы и, присев на койке, объявил, что теперь чувствует себя вполне хорошо.

Уиль расслышал эти слова и снова отдал мне приказание:

– Товарищ Морли, потрудитесь достать для анализа пол-литра внешнего воздуха.

Начальнический тон раздражал меня; я не

двигался. Уиль спросил насмешливо:

– Вы забыли, что у нас для этого есть особое приспособление? Не желая начинать новых споров, я исполнил приказание. Механизм, придуманный самим Уилем, оказался вполне целесообразным. Через несколько минут в нашем распоряжении была алюминиевая реторта, наполненная воздухом Марса.

Уиль взял ее из моих рук, откинул стол и занялся анализом. Я сел на койку Крафта, делая вид, что для меня безразлично оказываемое мне пренебрежение, и мы начали тихо беседовать, конечно, о том великом моменте, какой переживали оба.

– Вывихнутая рука и эта рана за ухом – пустяки, – говорил Крафт. – Завтра же я отправляюсь исследовать эти страны. Что они безжизненны, неверно. В той или иной форме, мы найдем здесь и флору и фауну. А если даже нет, то ведь для открытий минералогических и геологических – или, как сказать? марсологических! – здесь неисчерпаемая копь! Завтра, в один день, мы совершим открытий больше, чем все земные натуралисты за десятки лет трудолюбивейших исканий! Зав-

тра!

Уиль подошел к нам.

– Товарищи, – сказал он, – нам надо поговорить серьезно. Вы способны, Крафт?

– О да! еще бы! – отвечал тот.

– Тогда слушайте.

Не спеша, Уиль взял один из переносных стульев, сел у койки Крафта, оглядел нас обоих, но, не ожидая от нас слов, начал говорить. Он излагал свои соображения тоном, как если бы был на кафедре в университете перед малоподготовленными студентами.

XVI

– Мы достигли поверхности Марса, – говорил нам Уиль, – чего это нам стоило, вы знаете. Все же я должен обратить ваше внимание на два обстоятельства: на время, которое нам пришлось потратить на перелет, и на место, которое нам пришлось принять за точку спуска. Вы помните, что по теоретическим расчетам предполагалось, что перелет от Земли до Марса потребует, при максимальной скорости 5,6 километра в секунду, время от 116 минимум до 120 максимум земных суток. По тому же расчету предполагалось, что на обрат-

ный путь от Марса до Земли потребует ввиду увеличения расстояния в связи с поступательными движениями обеих планет по их орбитам, время от 120 минимум до 125[20] максимум земных суток. Итого оба перелета, от Земли до Марса и обратно, должны были предположительно занять от 236 минимум до 244 максимум суток. На пребывание на поверхности Марса предполагалось, при наших расчетах, 20 марсианских суток, которые, как вам известно, почти равны земным суткам, именно содержат 23 земных часа вместо 24. Всего путешествие должно было занять максимум 264 земных суток или около 6.336 земных часов.

Покорно я слушал сообщение Уиля, хотя испытывал при этом озлобленную досаду: все эти цифры были нам давно известны наизусть, и было нелепо терять на их повторение драгоценные минуты, которые можно было употребить с гораздо большей пользой хотя бы на простое обозрение ландшафтов Марса.

Уиль невозмутимо продолжал свой доклад.

– Сообразно с таким вычислением был сконструирован наш этеронеф и его грузоподъемность была рассчитана таким образом, чтобы он мог нести в себе количество кислорода, необходимого для дыхания трех человек в продолжение, круглым счетом, 6.400 земных часов. Точно так же количество водорода и других элементов, взятых на этеронеф, было рассчитано таким образом, чтобы можно было обратить их в такое количество питьевой воды, которое необходимо для трех путешественников в течение 265 земных суток, полагая не свыше 4 стаканов на человека в сутки. Наконец, количество зарядов, приводящих в действие наш мотор, было рассчитано как на два перелета, один максимум в 120 дней при покрытии расстояния в 56 миллионов километров и другой максимум в 125 дней при покрытии расстояния несколько больше, имея небольшой запас, достаточный для небольшого перелета с одной точки поверхности Марса на другую, например, из одного полушария планеты в другое.

Уиль остановился и обвел нас глазами. Крафт неподвижно смотрел в окно, прихоронив-

шеяся прямо перед его лицом, на марсианский пейзаж. Я столь же упорно рассматривал стену над койкой Крафта – зрелище гораздо менее любопытное. Уиль, по-видимому, остался доволен нашим вниманием и продолжал дальше.

– Непредвиденные обстоятельства нарушили наш расчет. Первый перелет от Земли до Марса занял, как вам известно, время свыше 127 земных суток, именно превысил почти на 170 часов то, которое мы считали максимально потребным. Это составляет увеличение почти в 6 %. Причины, вызвавшие это замедление пути, как вам известно, не выяснены еще нами с полной отчетливостью, но есть много вероятия искать их частично в гораздо более сильном влиянии притягательной силы малых планет, испытанной нами в часы, когда наш «Пироент» пересекал орбиту астероидов; частично в гораздо большем сопротивлении мирового эфира, нежели то предполагалось по расчету, не давшем нам довести скорость полета до максимальной величины 5,6 километров в секунду, но понижавшем ее в разные моменты движения на

величину от нескольких сотых до одной и даже двух с половиною десятых километра в секунду; возможно еще, что причиной указанного явления были некоторые несовершенства сконструированного нами мотора...

«Последней причины вполне достаточно, – подумал я не без злобы, – и ни к чему ссылаться еще на фантастическое трение мирового эфира и на сомнительное увеличение притягательной силы астероидов! Порочность конструкции мотора принадлежит вовсе не *нам*, а *вам* одному, любезнейший товарищ Уиль!» Конечно, вслух я этих мыслей не высказал и старался изобразить на лице выражение холодного внимания.

– По аналогии с опытом перелета от Земли до Марса, – с прежней невозмутимостью продолжал Уиль, – мы должны допустить, что обратный путь потребует такого же увеличения своей максимальной продолжительности, т. е. приблизительно в 6 %, т. е. займет максимум не 125, а около 132 с половиною земных суток, даже при условии, что наше отбытие с поверхности Марса произойдет не позже ранее намеченного срока и, следовательно, рас-

стояние между обеими планетами останется то же, какое предполагалось по предварительному расчету. Таким образом, на оба перелета, путь к Марсу и обратно к Земле, мы обязаны пока класть сумму 127 земных суток, уже потраченных нами на перелет сюда, и 132,5 земных суток, предположительно необходимых для перелета отсюда до Земли, причем последняя цифра должна ныне считаться минимальной, ибо возможны еще новые случайности, столь же не предусмотренные нами в настоящую минуту, как те, которые задержали наше прибытие на Марс. В общем итоге 127 плюс 132,5 составляет 259,5 земных суток, или, в часах, 6.228 земных часов, точнее же 6.230 часов, так как наш перелет сюда занял на 2 земных часа больше времени, нежели ровно 127 раз по 24 часа. Вычитая эту цифру 6.230 часов из цифры 6.400 часов – время, на которое мы могли взять запас с собою кислорода для дыхания, мы получаем в остатке 172 часа, иначе говоря, немногим больше 7 земных и около $7\frac{1}{2}$ марсианских суток. Это и есть тот срок, который, при сложившихся условиях, мы теперь можем провести на по-

верхности Марса, пользуясь нашим запасом кислорода. Однако, повторяю еще раз, что эта цифра скорее должна считаться максимальной, т. к. число часов, требуемых для обратного перелета, исчислено нами предположительно и может потребовать увеличения. Следовательно, благоразумнее для нас начать наш обратный перелет ранее, чем через 7 суток, или ранее, чем по истечении 172 земных часов от момента нашего соприкосновения с поверхностью Марса.

Несомненно, вывод Уиля был достаточно поразительным, хотя все мы и предвидели его уже в течение ряда последних дней, когда выяснилось наше опоздание. Тем не менее манера говорить Уиля, совершенно излишняя точность его слов, напоминая элементарный учебник арифметики, раздражала меня до крайности. На этот раз я не мог воздержаться, чтобы не вставить едкого замечания.

– Между тем вы, Уиль, из этих 172 часов тратите добрых полчаса на объяснение нам вещей, которые хорошо знаем без вас!

Мое впечатление было, что Крафт посмотрел на меня с ужасом, словно я своей репли-

кой совершил перед убежденным монархистом преступление «оскорбления величества», если не произнес перед верующим богохульства. Но сам Уиль обратил на мои слова не больше внимания, чем на жужжание мухи; он только выждал маленькую паузу и заговорил снова, все тем же тоном.

– Приблизительно на такое же время остается в нашем распоряжении запас того же кислорода, водорода и других элементов для выработки питьевой воды, с той разницей, что рацион выдаваемой воды может быть уменьшен, доведен, например, до трех и даже двух стаканов в день; тогда как уменьшить потребление человеком кислорода крайне трудно и даже губительно для него. Совсем ничего не буду я говорить о запасах для нашего питания, так как сокращение порций в этом отношении еще менее тягостно. Наконец, что касается зарядов для мотора, то, как я уже напоминал, мы имеем некоторый запас их, и, кроме того, можем вовсе не расходовать на Марсе, так что время нашего пребывания на планете не зависит от их количества.

– Однако, в плане нашей экспедиции стоит перелет «Пироонта» из одной точки Марса в другую, – заметил я.

– К этому вопросу я и перехожу, – ответил мне Уиль с той холодностью, с какой отвечает профессор ученику, перебивающему его лекцию.

Опять сделав паузу, Уиль начал изложение второй части своего доклада.

– Вам известно, что по плану экспедиции, только что упомянутому тов. Морли, предполагалось, что мы совершим спуск поблизости от той местности поверхности Марса, которая на наших земных картах этой планеты носит наименование «Озера...» Согласно с распространенной гипотезой, сторонником которой являюсь и я, подобные «озера» являются средоточием цивилизованной жизни на Марсе. Оказавшись вблизи подобного центра, мы имели бы возможность сравнительно легко, во всяком случае – быстро, вступить в сношения с разумными обитателями планеты. Однако, как вам тоже известно, непредвиденные условия полета, частью наше опоздание, главным же образом недостаточно исправное

действие мотора, не позволили нам самим избрать точку спуска. По причинам, мною еще не приведенным в полную известность, задерживающая сила мотора в период спуска на поверхность планеты оказалась гораздо менее энергичной, нежели то предполагалось по теоретическому расчету и нежели то наблюдалось во время нашего пробного перелета и при опытах с моделями этеронефов моей системы. Возможно, что здесь сыграла роль инерция движения, развитая во время двадцатисемидневного пролета по междупланетному пространству...

«Какие нелепости говорит этот человек, выдающий себя за ученого физика!» – подумал я, но решил не вызывать новых споров.

– Как бы то ни было, – методически сказал Уиль, – наш спуск первоначально имел характер падения, тогда как мне, как управляющему мотором, предстояло иметь в виду разрешение двух задач: во-первых, замедлить это падение, обратя его в планомерный и медленный спуск; во-вторых, направить этот спуск на заранее намеченную точку планеты. Так как я с несомненностью увидел полную

невозможность выполнить одновременно оба задания, то и должен был сосредоточить свою энергию на осуществлении лишь одного из них. Естественно, что я должен был избрать первое из них, так как от замедления быстроты падения зависела судьба всей экспедиции...

Я еще раз не выдержал и воскликнул:

– Дорогой Уиль! Это нам всем слишком памятно, известно и понятно! Уж если ваш мотор оказался недостаточно мощным, разумеется, лучше было спуститься хоть куда-нибудь, но благополучно, чем точнейшим образом, на заранее избранное место рухнуть из поднебесья и разлететься при этом вдребезги!

Уиль сделал вид, что не понял моей иронии и самоуверенно заявил:

– Мне удалось достичь поставленной себе цели, и наш спуск произошел совершенно благополучно...

Я взглянул на Крафта с его вывихнутой рукой и перевязанной головой и готов был расхохотаться; Уиль же продолжал:

– Зато я должен был пожертвовать второй стоявшей предо мной задачей, и мы оказа-

лись на таком пункте поверхности Марса, который не был нами предварительно избран и местонахождение которого, в сущности, остается нам неизвестным.

– Я полагаю, – сказал Крафт, впервые за все время доклада прерывая свое молчание, – что мы опустились где-либо в области...

– Очень возможно, – благосклонно согласился Уиль. – Пейзаж, видимый нами из окна, соответствует тому представлению, какое я могу себе составить о... Точнее мы определим наше местонахождение, сделав необходимые наблюдения.

– Каким образом? – спросил я. – Может быть, вам известно, через какой пункт марсиане проводят свой первый меридиан и который там час теперь?

Уиль не удостоил меня ответом, но вернулся к своей лекции.

– Явно одно, – сказал он, – что мы находимся в пределах какой-то пустыни, по-видимому, весьма далеко от населенных, культурных центров. Ввиду этого наши исследования потребуют значительного времени уже на один переход от этой точки до какого-нибудь

города марсиан или чего-либо, что здесь соответствует нашему понятию о городе. Очень возможно, что один такой переход и потребует срока большего, чем те семь суток, которые находятся в нашем распоряжении.

– Позвольте, Уиль, – вставил я, – вы забываете, что мы *<на этом текст обрывается>*
<1920–1921>

Примечание редактора: ГБЛ, ф. 386.35.13, л. 2-18. Автограф. В публикации сохранена авторская нумерация глав. Цифра XVI, вероятно, описка вместо VIII. В архиве имеются еще отдельные наброски, предшествующие данному тексту (ф. 386.35.11–12).

Примечания

Брюсов использовал в качестве эпиграфа те же строки из басни Крылова «Лебедь, Щука и Рак», которые были взяты Гончаровым для эпиграфа к его очерку «Литературный вечер» (1877).

[^^^]

«Любовных песен» (лат.).

[^^^]

сладострастный (лат.).

[^^^]

4

Н. М. Благовещенский. Гораций и его время.
СПб., 1864; 2 изд., Варшава, 1878.

[^^^]

В. И. Модестов. Избранные оды Горация. СПб., 1893.

[^^^]

6

Из Горация я имел в виду главным образом те из его произведений, которые есть в издании Модестова, а из Овидия – «Tristia» и «Ars amandi» (примеч. автора).

[^^^]

Змею (Прим. авт.).

[^^^]

Текст «Предисловия редактора» и «Предисловия автора» приведен в статье Н. С. Ашукина «В. Брюсов и П. И. Бартенев» (в кн.: Н. Ашукин. Литературная мозаика. «Московское товарищество писателей», <1931>, стр. 188–191).

[^^^]

В рукописи над текстом помета автора: *смягчить слог.*

[^^^]

Из стихотворения Баратынского «На что вы,
дни!..» (1840), вошедшего в его сборник «Су-
мерки».

[^^^]

«Российский феатр или полное собрание всех российских феатральных сочинений» – непериодические сборники оригинальных и переводных пьес, издававшиеся в 1786–1794 гг. в Петербурге Академией наук; вышло 43 части.

[^^^]

«Сын Отечества» – исторический, политический и литературный журнал, издававшийся с 1812 г. до конца 1825 г., был наиболее передовым русским журналом, в нем участвовали члены декабристских организаций. После 1825 г. перешел в лагерь консервативной журналистики.

[^^^]

Басни принято сопровождать нравоучением. Моральные следствия из рассказов обычно предоставляется делать читателям или, в крайнем случае, критике. Подчиняясь такому обыкновению, и я не решаюсь истолковать аллегорию своего вымысла. Но да будет мне всё же позволено сделать один намёк. В наши дни, дни «великой войны», когда наши противники значительнейшую долю своих упований основывают на техническом превосходстве Германии, может быть, не столь несвоевременной покажется фантастика, пытающаяся олицетворить технику. Та пропасть, в которую ведут крайние выводы германского символа веры, – вот то тёмное и грозное видение, предносившееся пред воображением автора, когда он обдумывал излагаемую здесь невероятную историю. *(Примеч. Брюсова.)*

[^^^]

Кораблей для полетов в междупланетном пространстве (от греч. aither – эфир и франц. nef – корабль).

[^^^]

«Предисловие редакторов» осталось незаконченным.

[^^^]

Имена персонажей в главах из «дневника», кроме самого Морли, не совпадают с именами, названными в предисловии «От издателей». Вместо Пэриса и О'Рука появляются Уиль и Крафт.

[^^^]

Наименование, данное здесь междупланетному кораблю (от одного из древнегреческих названий планеты Марс – Pyroeis, огненный). В архиве Брюсова сохранилась и его драма «Пи-роент», героем которой является изобретатель снаряда, предназначенного для полета на другие планеты.

[^^^]

В автографе явная описка: километров.

[^^^]

Названная здесь скорость – полтора километра в минуту, т. е. 25 метров в секунду, не согласована с достигнутой уже раньше скоростью 10 м в секунду.

[^^^]

20

Первоначально было: 124.

[^^^]